Грэм

Грин

Тихий американец

•

Наш человек в Гаване

•

Комедианты

Тихий американец

Грэм Грин

Грэм Грин. Тихий американец
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
2
3
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
2
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
2
3

Грэм Грин
Тихий американец

Я не люблю тревог: тогда проснется воля, А действовать опаснее всего; я трепещу при мысли Стать фальшивым, сердечную обиду нанести иль беззаконье совершить – Все наши представления о долге так ужасны и нас толкают на поступки эти.
Артур Клаф[1]*.*
К спасенью душ и умервщленью плоти,
Благую цель преследуя притом,
В наш век – вы сотни способов найдете.
Байрон

Дорогие Ренэ и Фуонг!
Я просил разрешения посвятить эту книгу вам не только в память о счастливых вечерах, проведенных с вами в Сайгоне за последние пять лет, но и потому, что я бессовестно воспользовался адресом вашей квартиры для того, чтобы посе-

---

1 notes: 1
английский поэт (1819-1861)

лить там одного из моих героев, и вашим именем, Фуонг, для удобства читателей, потому что это – простое, красивое и легко произносимое имя, чего нельзя сказать об именах всех ваших соотечественниц. Как вы увидите, я не присвоил себе больше ничего и уж, во всяком случае, не позаимствовал характеров своих вьетнамских героев – Пайла, Гренджера, Фаулера, Виго и Джо – у всех у них нет живых прототипов ни в Сайгоне, ни в Ханое, а генерал Тхе умер, – говорят, его убили выстрелом в спину. Даже исторические события, и те были мной смещены. Например, большая бомба взорвалась возле «Континенталя» раньше, а не вслед за велосипедными бомбами. Я допускаю такие отклонения без всяких угрызений совести, потому что я написал роман, а не исторический очерк, и надеюсь, что эта повесть о нескольких вымышленных героях поможет вам скоротать один из жарких сайгонских вечеров.

Любящий вас Грэм Грин.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

После ужина я сидел у себя в комнате на улице Катина и дожидался Пайла. Он сказал: «Я буду у вас не позже десяти», — но когда настала полночь, я не смог больше ждать и вышел из дома. У входа, на площадке, сидели на корточках старухи в черных штанах: стоял февраль, и в постели им, наверно, было слишком жарко. Лениво нажимая на педали, велорикша проехал к реке; там разгружались новые американские самолеты и ярко горели фонари. Длинная улица была пуста, на ней не было и следа Пайла.

«Конечно, — сказал я себе, — его могли задержать в американской миссии, но тогда он непременно позвонил бы в ресторан: он ведь дотошно соблюдает приличия». Я повернул было назад к двери, но заметил, что в соседнем подъезде стоит девушка. Я сразу ее узнал, хоть и не мог разглядеть лица, а видел только белые шелковые штаны и длинную цветастую кофту. Она так часто ждала моего возвращения в этот самый час и на этом самом месте.

— Фуонг, — окликнул я ее. Это значило Феникс, хотя ничто в наши дни не похоже на сказку и не

возрождается из пепла. Она мне ничего не сказала, но я знал, что она ждет Пайла. — Его нет.

— Je sais. Je t'ai vu seui a la fenetre[2].

— Ты можешь подождать наверху, — сказал я. — Теперь уж он скоро придет.

— Я подожду здесь.

— Лучше не надо. Тебя могут забрать в полицию.

Она пошла за мной наверх. Молча я перебрал в уме несколько насмешливых и колких замечаний, но не произнес их: она недостаточно знала и английский и французский, чтобы до нее дошла ирония; как ни странно, мне не хотелось причинять боль ни ей, ни самому себе. Когда мы поднялись на площадку лестницы, старухи повернули в нашу сторону головы, а как только мы прошли — их голоса зазвучали то выше, то ниже, словно они пели.

— О чем они говорят?

— Думают, что я вернулась домой.

С дерева, которое я поставил у себя в комнате несколько недель назад по случаю китайского Нового года, облетели почти все желтые цветы. Они набились между клавишами моей пишущей

---

2 notes: 2

Знаю. Я видела, как ты стоял один у окна (фр.)

машинки, и я стал их оттуда вытаскивать.

— Tu es trouble[3], — сказала Фуонг.

— Это на него не похоже. Он такой аккуратный.

Я снял галстук, ботинки и лег на кровать. Фуонг зажгла газовую плитку и поставила кипятить воду для чая. Совсем как полгода назад.

— Он говорит, что теперь ты скоро уедешь, — сказала она.

— Возможно.

— Он тебя очень любит.

— И на том спасибо.

Я заметил, что она стала причесываться по-другому, и ее гладкие черные волосы теперь падали прямо на плечи. Я вспомнил, что Пайл как-то выразил неодобрение той сложной прическе, которая, по мнению Фуонг, подобала ей как дочери мандарина.

Я закрыл глаза, и она снова была тем, что прежде: шипением пара, звяканьем чашки, особенным часом ночи; она снова сулила покой.

— Теперь он скоро придет, — сказала она, будто я нуждался в утешении.

Интересно, о чем они говорят друг с другом?

---

3 notes: 3
ты встревожен (фр.)

Пайл — человек серьезный и немало меня помучил своими лекциями о Дальнем Востоке, где он прожил столько месяцев, сколько я — лет. Другой его излюбленной темой была демократия, и он высказывал непоколебимые взгляды, основательно бесившие меня, на ту высокую миссию, которую Соединенные Штаты выполняют по отношению ко всему человечеству. Фуонг же была поразительно невежественна: если бы разговор зашел о Гитлере, она бы прервала вас, чтобы спросить, кто он такой. И объяснить ей это было бы очень трудно: ведь она никогда не встречала ни немцев, ни поляков, имела самое туманное представление о географии Европы, хотя ее познания о личной жизни английской принцессы Маргариты были куда обширнее моих. Я услышал, как она ставит поднос на край кровати.

— Он все еще влюблен в тебя, Фуонг?

Любить аннамитку — это все равно, что любить птицу: они чирикают и поют у вас на подушке. Было время, когда мне казалось, что ни одна птица на свете не поет так, как Фуонг. Я протянул руку и дотронулся до ее запястья, — и кости у них такие же хрупкие, как у птицы.

— Он все еще влюблен?

Она засмеялась, и я услышал, как чиркнула

спичка.

— Влюблен? — Наверно, это было одно из тех выражений, которых она не понимала.

— Приготовить тебе трубку? — спросила она.

Когда я открыл глаза, лампа была зажжена. Сдвинув брови, она склонилась над огнем, вертя в пальцах иглу, чтобы подогреть шарик опиума; свет лампы превращал ее кожу в темный янтарь.

— Пайл все еще не курит? — спросил я ее.

— Нет.

— Ты его заставь, а то он к тебе не вернется.

У них была примета, что любовник, который курит, непременно вернется, даже из Франции. Курение опиума истощало мужскую силу, но они предпочитали верного любовника страстному. Фуонг разминала шарик горячей мастики на выпуклом краю чашечки, и я почувствовал запах опиума. Нет на свете другого такого запаха. На будильнике возле кровати стрелки показывали двадцать минут первого, но тревога моя уже улеглась. Образ Пайла уходил все дальше. Лампа освещала лицо Фуонг, когда она готовила мне длинную трубку, склонившись над ней заботливо, как над ребенком.

Я люблю свою трубку — более двух футов пря-

мого бамбука, оправленного по концам слоновой костью. На расстоянии одной трети от края в трубку вделана чашечка, формой похожая на перевернутый колокольчик; ее выпуклая поверхность отполирована частым разминанием опиума и потемнела. Легко изогнув кисть, Фуонг погрузила иглу в крошечное отверстие, оставила там шарик опиума и поднесла чашечку к огню, держа неподвижно трубку. Бусинка опиума тихонько пузырилась, когда я втягивал дым из трубки. Опытный курильщик может выкурить целую трубку разом, но мне приходилось затягиваться несколько раз. Я откинулся назад, подложив под шею кожаную подушку, пока Фуонг готовила мне вторую трубку.

— Все ясно, как день. Пайл знает, что перед сном я выкуриваю несколько трубок, и не хочет меня беспокоить. Он придет утром.

Игла снова погрузилась в отверстие, и я взял у Фуонг вторую трубку. Выкурив ее, я сказал:

— Нечего волноваться. Не о чем беспокоиться. — Я отхлебнул чаю и положил руку на сгиб ее руки. — Хорошо, что у меня оставалось хоть это, когда ты от меня ушла. На улице д'Ормэ хорошая курильня. Сколько шуму поднимаем мы, европейцы, из-за всякой ерунды. Зря ты живешь

с человеком, который не курит, Фуонг.

— Но он на мне женится. Теперь уже скоро.

— Тогда, конечно, другое дело.

— Приготовить тебе еще одну трубку?

— Да.

Интересно, останется она со мной, если Пайл так и не придет? Но я знал, что, когда я выкурю четыре трубки, Фуонг мне больше не будет нужна. Конечно, приятно чувствовать ее бедро рядом со своим, — она всегда спит на спине, — и, проснувшись утром, встретить новый день с трубкой, а не с самим собой.

— Пайл сегодня уже не придет, — сказал я. — Оставайся здесь, Фуонг.

Она протянула мне трубку и покачала головой. Когда я вдохнул опиум, мне стало безразлично, останется она или уйдет.

— Почему Пайла нет? — спросила Фуонг.

— Откуда я знаю?

— Он пошел к генералу Тхе?

— Понятия не имею.

— Он сказал, что если не сможет с тобой поужинать, то придет сюда.

— Не беспокойся. Он придет. Приготовь мне еще одну трубку.

Когда она склонилась над огнем, я вспомнил

стихи Бодлера: «Мое дитя, сестра моя...» Как там дальше?

Aimer a loisir. Aimer et mourir Au payx qui te ressembler. Любить в тиши. Любить и умереть В стране, похожей на тебя.

Там, у набережной, спали корабли, «dont l'humeur est vagabonde»[4]. Я подумал, что если вдохнуть запах ее кожи, то к нему будет примешиваться легкий аромат опиума, а ее золотистый оттенок похож на огонек светильника. Лотосы на ее одежде цветут вдоль каналов на Севере, и сама Фуонг здешняя, как травы, которые здесь растут, а я никогда не стремился к себе на родину.

— Хотел бы я быть Пайлом, — произнес я вслух, но боль уже притупилась и стала терпимой; опиум сделал свое дело. Кто-то постучал в дверь.

— Вот и Пайл! — воскликнула она.

— Нет. Это не его стук.

Кто-то снова постучал, уже с нетерпением. Она быстро встала, задев желтое дерево, и оно снова осыпало своими лепестками мою машинку. Дверь отворилась.

— Мсье Фулэр, — резко позвал чей-то голос.

— Да, я Фаулер, — отозвался я, и не подумав

---

4 notes: 4

«которые вечно склонны бродяжить» (фр.)

встать из-за какого-то полицейского: даже не поднимая головы, я мог видеть его короткие штаны защитного цвета.

Он объяснил на почти непонятном французском наречии, на котором говорят во Вьетнаме, что меня ждут в охранке — немедленно, тотчас же, сию минуту.

— Во французской охранке или вашей?

— Во французской. — В его устах это прозвучало «Франсунг».

— Зачем?

Он не знал: ему приказали меня доставить, вот и все.

— Toi aussi[5], — сказал он Фуонг.

— Говорите «вы», когда разговариваете с дамой, — сказал я ему. — Откуда известно, что она здесь?

Он только повторил, что таков приказ.

— Я приду утром.

— Sur le chung[6], — произнес этот подтянутый, упрямый человечек.

Спорить было бесполезно — поэтому я встал, надел ботинки и галстук. В здешних краях по-

---

5 notes: 5
и тебя тоже (фр.)

6 notes: 6
немедленно (ломаный фр.)

следнее слово всегда остается за полицией: она может аннулировать ваш пропуск, запретить посещение пресс-конференций и, наконец, если захочет, отказать вам в разрешении на выезд. Все это были законные меры, но законность не так уж соблюдалась в стране, где идет война. Я знал человека, у которого внезапно самым непонятным образом пропал повар, — следы его вели в местную охранку, однако полицейские заверили моего знакомого, будто повар был допрошен и отпущен на все четыре стороны. Семья так больше никогда его и не видела. Может, он ушел к коммунистам или завербовался в одну из наемных армий, которые расплодились вокруг Сайгона — армию хоа-хао, каодаистов или генерала Тхе. Может, он и сейчас сидит во французской тюрьме; может, ведет беспечальную жизнь в китайском предместье — Шолоне, торгуя девочками. А может, он умер от разрыва сердца во время допроса.

— Пешком я не пойду, — сказал я. — Вам придется нанять рикшу. — Человек обязан сохранять достоинство.

Поэтому я отказался от сигареты, предложенной мне офицером французской охранки. После трех трубок рассудок у меня был ясный, — я без

труда мог принимать такого рода решения, не теряя из виду главного: чего они от меня хотят? Я встречался с Виго несколько раз на приемах; он запомнился мне тем, что был, казалось, несуразно влюблен в свою жену, вульгарную, лживую блондинку, которая не обращала на него никакого внимания, Теперь, в два часа ночи, он сидел в духоте и папиросном дыму, усталый, мрачный, с зеленым козырьком над глазами и томиком Паскаля на столе, чтобы скоротать время. Когда я запретил ему допрашивать Фуонг без меня, он сразу же уступил со вздохом, в котором чувствовалось, как он устал от Сайгона, от жары, а может, и от жизни.

Он сказал по-английски:

— Мне очень жаль, что я был вынужден просить вас прийти.

— Меня не просили, мне приказали.

— Ах, уж эти мне туземные полицейские, ничего они не понимают. — Глаза его были прикованы к раскрытому томику «Мыслей» Паскаля, будто он и в самом деле был погружен в эти печальные размышления. — Я хочу задать вам несколько вопросов. Относительно Пайла.

— Лучше бы вы задали эти вопросы ему самому.

Он обернулся к Фуонг и резко спросил ее по-французски:

— Сколько времени вы жили с мсье Пайлом?

— Месяц… Не знаю… — ответила она.

— Сколько он вам платил?

— Вы не имеете права задавать ей такие вопросы, — сказал я. — Она не продается.

— Она ведь жила и с вами? — спросил он внезапно. — Два года.

— Я — корреспондент, которому положено сообщать о вашей войне, когда вы даете нам эту возможность. Не требуйте, чтобы я поставлял материалы и для вашей скандальной хроники.

— Что вы знаете о Пайле? Пожалуйста, отвечайте на вопросы, мсье Фаулер. Поверьте, мне не хочется их задавать. Но дело нешуточное. Совсем нешуточное.

— Я не доносчик. Вы сами знаете все, что я могу рассказать вам о Пайле. Лет ему от роду — тридцать два; он работает в миссии экономической помощи, по национальности — американец.

— Вы, кажется, его друг? — спросил Виго, глядя мимо меня, на Фуонг. Туземный полицейский внес три чашки черного кофе. — А может, вы хотите чаю? — спросил Виго.

— Я и в самом деле его друг, — сказал я. — По-

чему бы и нет? Рано или поздно мне все равно придется уехать домой. А ее взять с собой я не могу. С ним ей будет хорошо. Это — самый разумный выход из положения. И он говорит, что на ней женится. С него это станет. Ведь по-своему он парень хороший. Серьезный. Не то, что эти горластые ублюдки из «Континенталя». Тихий американец, — определил я его, как сказал бы: «зеленая ящерица» или «белый слон».

Виго подтвердил:

— Да. — Казалось, он отыскивает на столе такое же меткое слово, какое нашел я. — Очень тихий американец.

Сидя в своем маленьком душном кабинете, Виго ждал, чтобы кто-нибудь из нас заговорил. Где-то воинственно гудел москит, а я глядел на Фуонг. Опиум делает вас очень сообразительным, — наверно, потому что успокаивает нервы и гасит желания. Ничто, даже смерть не кажется такой уж важной. Фуонг, подумал я, не поняла его тона — грустного и безнадежного, а ее познания в английском языке невелики. Сидя на жестком конторском стуле, она все еще терпеливо ждала Пайла. Я в этот миг уже перестал его ждать и видел: Виго понимает, что на душе у нас обоих.

— Как вы с ним познакомились? — спросил

меня Виго.

Стоит ли объяснять, что это Пайл со мной познакомился, а не я с ним? Я увидел его в сентябре прошлого года, когда он пересекал сквер возле отеля «Континенталь»; этот молодой человек, еще не тронутый жизнью, был кинут в нас, как дротик. Весь он — долговязый, коротко подстриженный, еще по-студенчески наивный, — казалось, не мог причинить никому никакого вреда. Большинство столиков на улице было занято.

— Вы не возражаете? — обратился он ко мне с проникновенной вежливостью. — Моя фамилия Пайл. Я здесь еще новичок. — Он ловко разместил свое долговязое тело на стуле, обняв его спинку, и заказал пиво. Потом взволнованно прислушался, вглядываясь в слепящее сияние полудня. — Это граната? — спросил он с надеждой.

— Скорее всего выхлоп автомобиля, — сказал я я вдруг пожалел, что разочаровал его. Так быстро забываешь свою молодость; когда-то и меня волновало то, что за неимением лучшего слова принято называть «новостями». Однако гранаты мне уже приелись; о них теперь мельком упоминали на последней полосе местной газеты: столько-то взорвалось прошлой ночью в Сайгоне, столько-то в Шолоне, — они больше не попадали

в европейскую прессу. Улицу пересекли красивые тоненькие фигурки в белых шелковых штанах, длинных, туго облегающих, разрезанных до бедер кофтах с розовыми и лиловыми разводами; я смотрел на них, заранее испытывая ту тоску по этим краям, которую я непременно почувствую, как только покину их навсегда.

— Красивы, правда? — сказал я, потягивая пиво, и Пайл рассеянно поглядел, как они идут вверх по улице Катина.

— Да, ничего, — сказал он равнодушно: ведь он был человек серьезный. — Посланник крайне встревожен этими гранатами. Было бы весьма нежелательно, говорит он, если бы произошел несчастный случай — с кем-нибудь из нас, конечно.

— С кем-нибудь из вас? Да, это было бы неприятно. Конгресс выразил бы неудовольствие.

Почему мы так любим дразнить простодушных? Ведь всего десять дней назад он, наверно, гулял по городскому парку Бостона с охапкой книг по Китаю и Дальнему Востоку, которые изучал для будущей поездки. Он даже не слышал того, что я говорю, — так он был поглощен насущными проблемами демократии и ответственностью Запада за устройство мира; он твердо решил — я

узнал об этом довольно скоро — делать добро, и не какому-нибудь отдельному лицу, а целой стране, части света, всему миру. Что ж, тут он был в своей стихии: у его ног лежала вселенная, в которой требовалось навести порядок.

— Его отправили в морг? — спросил я у Виго.

— Откуда вы знаете, что он умер? — Это был глупый, типичный для полиции вопрос, недостойный человека, читавшего Паскаля и так нелепо любившего свою жену. Нельзя любить, если у тебя нет интуиции.

— Нет, я не виновен, — сказал я, уверяя себя, что это правда. Разве Пайл не поступал всегда по-своему? Я хотел понять, чувствую ли я хоть что-нибудь, но не испытывал даже досады на то, что меня подозревает полиция. Во всем виноват был сам Пайл. «Да и не лучше ли умереть нам всем?» — рассуждал во мне опиум. Однако я искоса поглядел на Фуонг: для нее это будет ударом. По-своему она его любила, — разве она не была привязана ко мне и не бросила меня ради Пайла? Она связала свою судьбу с молодостью, надеждой на будущее, устойчивостью во взглядах, но они подвели ее куда больше, чем старость и отчаяние. Фуонг сидела, поглядывая на нас обоих, и мне казалось, что она еще ничего не понимает.

Пожалуй, стоило бы увести ее домой прежде, чем до нее дойдет то, что случилось. Я готов отвечать на любые вопросы, чтобы поскорее покончить с этим розыском, кончить его вничью, а потом рассказать ей все наедине, вдали от бдительного полицейского ока, от жестких казенных стульев и голой электрической лампочки, вокруг которой вьются мошки.

Я спросил Виго:

— Какое время вас интересует?

— Что вы делали между шестью и десятью вечера?

— В шесть часов я пил пиво в «Континентале». Официанты, наверно, вам это подтвердят. В шесть сорок пять я спустился к набережной, чтобы посмотреть, как разгружают американские самолеты. У дверей «Мажестика» встретил Уилкинса из «Ассошиэйтед Ньюс». Потом зашел в кино в соседнем доме. Там меня, вероятно, вспомнят, — им пришлось менять мне деньги. Потом я взял велорикшу, поехал во «Вье мулен», думаю, что приехал туда около восьми тридцати, — и пообедал в одиночестве. В ресторане был Гренджер, — вы можете его спросить. Потом я снова нанял рикшу и вернулся домой; было без четверти десять. Вам нетрудно будет это прове-

рить. Я ждал, что Пайл придет к десяти, но он так и не появился.

— Почему вы его ждали?

— Он по телефону сказал, что должен видеть меня по важному делу.

— Вы не знаете, по какому?

— Нет. Пайлу все казалось важным.

— А его девушка? Вам известно, где она была в это время?

— В полночь она ждала его на улице, возле моего дома. Она была встревожена. И ничего не знает. Разве вы не видите, что она все еще его ждет?

— Вижу, — сказал он.

— Не думаете же вы, что я убил его из ревности? Или что убила его она? Из-за чего? Ведь он собирался на ней жениться.

— Понятно.

— Где вы его нашли?

— В воде, под мостом в Дакоу.

«Вье мулен» стоит возле этого моста. Мост охраняют вооруженные полицейские, а ресторан защищен от гранат железной сеткой. Ночью ходить по мосту небезопасно, потому что с наступлением темноты та сторона реки находится

в руках вьетминцев[7]. Значит, я обедал метрах в пятидесяти от его трупа.

— Беда в том, — сказал я, — что он вмешивался не в свое дело.

— Говоря начистоту, — сказал Виго, — я не очень-то огорчен. Он натворил немало бед.

— Спаси нас боже от праведных и не ведающих, что творят.

— Праведных?

— Да. В своем роде. Вы ведь католик. Его праведность до вас не доходит. К тому же он был одним из этих чертовых янки.

— Вы не откажетесь его опознать? Простите, это не слишком приятно, но такой уж у нас порядок.

Я не стал его спрашивать, почему бы ему не попросить об этом кого-нибудь из американской миссии, потому что понимал, в чем дело. В наш холодный деловой век французские методы кажутся слегка старомодными: а там еще верят в совесть, в сознание вины, в то, что преступника надо свести с жертвой, — он может дрогнуть и себя выдать. Я снова уверял себя, что ни в чем не виноват, пока мы спускались по каменным ступеням в подвал, где жужжала холодильная

7 notes: 7

Вьет-Мин — Демократический фронт борьбы за независимость Вьетнама, созданный в 1941 году

установка.

Они вытащили его оттуда, словно поднос с кубиками льда, и я взглянул на него. Раны подмерзли и не очень выделялись. Я сказал:

— Видите, они и не думают отверзаться в моем присутствии.

— Comment?[8]

— Разве вы не задавались такой целью? Испытать меня. Но вы его слишком заморозили. В средние века у них не было таких мощных холодильников.

— Вы его узнаете?

— О, да.

Здесь он казался совсем уж не на своем месте, еще больше, чем живой; лучше бы он сидел дома. Я видел его на снимках в семейном альбоме: верхом, на ранчо для туристов; на пляже Лонг-Айленда; у одного из своих товарищей в квартире на двадцать третьем этаже. Он был как рыба в воде среди небоскребов, скоростных лифтов, мороженого и сухих коктейлей, молока за обедом и бутербродов с курятиной.

— Он умер не от этого, — сказал Виго, показывая рану на груди. — Его утопили в тине. В легких

---

8 notes: 8
Что? (фр.)

у него нашли тину.

— Вы работаете очень оперативно.

— В этом климате иначе нельзя.

Они втолкнули носилки обратно и захлопнули дверцу. Резиновая прокладка амортизировала удар.

— Вы ничем не можете нам помочь? — спросил Виго.

— Ничем.

Мы пошли домой пешком, — мне не к чему было больше заботиться о моем достоинстве. Смерть убивает тщеславие, она лишает тщеславия даже рогоносца, который боится показать, как ему больно. Фуонг все еще ничего не понимала, а у меня не хватало умения объяснить ей исподволь и деликатно. Я ведь корреспондент и привык мыслить газетными заголовками: «Убийство американского агента в Сайгоне». Газетчиков не учат, как смягчать дурные вести, а мне и сейчас приходилось думать о моей газете. Я попросил Фуонг:

— Зайдем на минутку на телеграф, ты не возражаешь?

Я заставил ее подождать на улице, отправил телеграмму и вернулся к ней. Посылка телеграммы была пустым жестом: я отлично знал,

что французские корреспонденты уже обо всем оповещены, и даже если Виго вел честную игру (что тоже было возможно), цензура все равно задержит мою телеграмму, пока французы не пошлют своих. Моя газета узнает эту новость из парижских источников. Правда, Пайл не был такой уж крупной фигурой. Не мог же я написать правду о его пребывании здесь или хотя бы о том, что, прежде чем умереть, он стал виновником не менее пятидесяти смертей. Ведь это нанесло бы вред англо-американским отношениям и расстроило бы посланника. Тот очень высоко ценил Пайла, недаром Пайл получил отличный аттестат по одному из тех невероятных предметов, которые почему-то изучают американцы: искусство информации, театроведение, а может, даже дальневосточный вопрос (ведь Пайл прочел такую уйму книг).

— Где Пайл? — спросила Фуонг. — Чего они хотели?

— Пойдем домой.

— А Пайл придет?

— Он так же может прийти туда, как и в любое другое место.

Старухи все еще сплетничали в холодке на площадке. Когда я открыл дверь в свою комнату,

я сразу же заметил, что в ней был обыск: она была прибрана куда более тщательно, чем обычно.

— Хочешь еще одну трубку? — спросила Фуонг.

— Да.

Я снял галстук и ботинки; антракт окончился: ночь шла своим чередом. Фуонг, прикорнув на краю постели, зажгла лампу. «Мое дитя, сестра моя» с кожей янтарного цвета. Sa douce langue natale[9].

— Фуонг, — окликнул я ее. Она разминала шарик опиума. — Il est mort[note] [10], Фуонг.

Держа иглу, она поглядела на меня нахмурившись, как ребенок, который хочет понять, что ему сказали.

— Tu dis?[11]

— Pyle est mort. Assassine[12].

Она положила иглу, откинулась назад на корточках и поглядела на меня. Не было ни слез, ни сцен, она просто задумалась, — это были глубо-

---

9 notes: 9
сладостный говор ее родины (фр.)

note notes: 10
он мертв (фр.)

11 notes: 11
Что ты сказал? (фр.)

12 notes: 12
Пайл мертв. Убит (фр.)

кие и очень личные мысли человека, которому придется изменить всю свою жизнь.

— Тебе, пожалуй, сегодня лучше остаться здесь, — сказал я.

Она кивнула и, взяв иглу, снова стала подогревать мастику. В эту ночь я проснулся от короткого глубокого сна, который дает опиум, — спишь десять минут, а кажется, будто отдыхал всю ночь, — и заметил, что рука моя лежит там, где она всегда лежала ночью: на ее бедре. Она спала, и я едва различал ее дыхание. Снова, после долгих месяцев, я не был один. Но вдруг я вспомнил полицию, Виго в зеленом козырьке, тихие пустынные коридоры миссии, мягкую, гладкую кожу у себя под рукой и рассердился: неужели один только я жалею о Пайле?

2

В то утро, когда Пайл впервые появился возле «Континенталя», я был по горло сыт своими американскими коллегами: рослыми, шумными, хоть и пожилыми, но так и не ставшими взрослыми, вечно отпускавшими злобные шуточки по адресу французов, которые, что там ни говори, все-таки проливали кровь в этой войне. Время от времени, когда следы какой-нибудь стычки были аккуратно подчищены, а жертвы ее убраны с поля боя, корреспонденты садились в самолет и через четыре часа приземлялись в Ханое, где главнокомандующий произносил им речь, после чего, переночевав в Доме прессы, который, по их словам, мог похвастаться лучшим барменом во всем Индокитае, они вылетали на «место сражения», осматривали его с высоты трех тысяч футов (куда не достигали пули даже тяжелых пулеметов), а потом с шумом, но в полной безопасности, возвращались, как со школьного пикника, назад, в отель «Континенталь» в Сайгоне.

Пайл же был тихий и с виду такой скромный; в тот первый день нашего знакомства мне порою приходилось пододвигаться поближе, чтобы его

расслышать. И он был очень, очень серьезный. Его зачастую передергивало от шума, который производила американская пресса на террасе над нами, — на верхней террасе, по общему мнению, были куда менее опасны ручные гранаты. Но он никого не осуждал.

— Вы читали Йорка Гардинга? — спросил он меня.

— Нет. Насколько помнится, нет. А что он написал?

Он посмотрел на кафе-молочную напротив и сказал мечтательно:

— Там, кажется, можно выпить настоящей содовой воды.

Меня поразило, какая острая тоска по родине заставила его подумать именно об этом, несмотря на всю непривычность обстановки. Но ведь я и сам, когда впервые шел по улице Катина, прежде всего обратил внимание на витрину с духами Герлена и утешал себя мыслью, что до Европы в конце концов всего тридцать часов пути. Пайл с неохотой отвел глаза от молочной.

— Йорк написал книгу под названием «Наступление красного Китая». Значительное произведение.

— Не читал. А вы с ним знакомы лично?

Он с важностью кивнул и погрузился в молчание. Но сам же нарушил его, чтобы смягчить впечатление от своих слов.

— Я знал его не очень близко, — сказал он. — Встречался всего раза два.

Мне понравилось, что он боится прослыть хвастуном, претендуя на знакомство с этим — как бишь его? — Йорком Гардингом. Потом я узнал, что Пайл питал глубочайшее почтение к так называемым «серьезным писателям». В эту категорию не входили ни романисты, ни поэты, ни драматурги, разве что они отражали «современную тему», но даже и тогда Пайл предпочитал, чтобы описывали факты без затей, как пишет Йорк Гардинг. Я сказал:

— Знаете, если где-нибудь долго живешь, пропадает охота читать про это место.

— Конечно, интересно послушать мнение очевидца, — сказал он уклончиво.

— Чтобы потом сверить его с тем, что пишет ваш Йорк?

— Да. — Должно быть, он заметил в моих словах иронию и добавил с обычной вежливостью: — Я сочту большим одолжением, если вы найдете время проинструктировать меня по основным вопросам. Видите ли, Йорк был здесь больше двух

лет назад.

Мне понравилась его вера в Гардинга, кем бы этот Гардинг ни был. Особенно после злословия корреспондентов, их незрелого цинизма. Я предложил:

— Выпейте еще бутылку пива, а я постараюсь рассказать вам о положении дел.

Я начал говорить, он слушал меня внимательно, как примерный ученик. Я объяснил ему, что происходит на Севере, в Тонкине, где французы в те дни судорожно цеплялись за дельту реки Красной, — там лежат Ханой я единственный порт на Севере — Хайфон и выращивается большая часть риса. А когда наступает пора уборки, начинается ежегодная битва за урожай.

— Так обстоят дела на Севере, — сказал я. — Эти несчастные французы смогут там удержаться, если на помощь вьетминцам не придут китайцы. Ведь война идет в джунглях, в горах и в болотах, на затопленных полях, где вы бредете по шею в воде, а противник вдруг улетучивается, закопав оружие и переодевшись в крестьянское платье... У вас есть возможность комфортабельно плесневеть в Ханое. Там не бросают бомб. Бог его знает, почему. Там война идет по всем правилам.

— А здесь, на Юге?

— Французы контролируют основные дороги до семи часов вечера; после семи часов у них остаются сторожевые вышки и кое-какие города. Это не значит, что вы и тут в безопасности: в противном случае не надо было бы огораживать рестораны железными решетками.

Сколько раз я уже все это объяснял. Я был похож на пластинку, которую заводят для просвещения новичков — заезжего члена парламента или нового английского посланника. Иногда я просыпался ночью со словами: «Возьмите, например, каодаистов, солдат хоа-хао, Бин-Ксюена...» Это были наемные армии, которые продавали свои услуги за деньги или из чувства мести. Чужеземцы находили их очень живописными, но я не вижу ничего живописного в предательстве или двуличии.

— А теперь, — сказал я, — появился еще и некий генерал Тхе. Он был начальником штаба у каодаистов, но сбежал в горы, чтобы драться с обоими противниками — и с французами, и с коммунистами...

— Йорк, — сказал Пайл, — писал, что Востоку нужна третья сила.

По-видимому, я должен был тогда же заметить фанатический блеск в его глазах, преклонение пе-

ред фразой, перед магией числа: «пятая колонна», «третья сила», «день седьмой»… Пойми я сразу, на что было устремлено это неутомимое, нетронутое сознание, я мог бы уберечь всех нас и даже самого Пайла от многих неприятностей. Но я оставил его во власти абстрактных представлений о здешней действительности и пошел совершать свою каждодневную прогулку по улице Катина. Ему придется самому познакомиться с тем, что его окружает; оно овладевало вами, как навязчивый запах: рисовые поля, позолоченные пологими лучами вечернего солнца; тонкие росчерки удочек, снующих над каналами, как москиты; чашечки с чаем на террасе у старого священника, и тут же — его кровать, рекламные календари, ведра и битые черепки — намытый временем мусор всей его жизни; похожие на ракушки шляпы девушек, чинивших взорванную миной дорогу; золото, молодая зелень и яркие одежды Юга, а на Севере — темно-коричневые и черные тона тканей, кольцо враждебных гор и стрекот самолетов, Когда я сюда приехал, я отсчитывал дни моего пребывания, как школьник, ожидающий каникул; мне казалось, что я неразрывно связан с тем, что уцелело от сквера в Блумсбери, с 73-м автобусом, проходящим под аркой Юстон-сквера,

и с весной на Торрингтон-плейс. Теперь в сквере уже расцвели тюльпаны, а мне это безразлично. Мне нужен день, размеченный короткими взрывами — не то автомобильных выхлопов, не то гранат; мне хочется смотреть, с какой грацией движутся фигурки в шелковых штанах в этот пропитанный влагой полдень; мне нужна Фуонг, и дом мой передвинулся на тринадцать тысяч километров.

Я повернул тогда назад у резиденции верховного комиссара, где на страже стоят солдаты Иностранного легиона в белых кепи и малиновых эполетах, пересек улицу у собора и пошел назад вдоль угрюмой стены местной охранки; казалось, она насквозь пропахла мочой и несправедливостью. Однако и эта стена тоже была частью моего дома, как те темные коридоры и чердаки, которых так боишься в детстве. На набережной в киосках продавали последние выпуски порнографических журналов «Табу» и «Иллюзия», а матросы тут же на тротуаре пили пиво — отличная мишень для самодельной бомбы. Я подумал о Фуонг, которая, наверно, торгуется с продавцом рыбы в трех кварталах отсюда, прежде чем пойти к одиннадцати часам в кафе-молочную (в те дни я всегда знал, где она бывает), и Пайл незаметно

улетучился у меня из памяти. Я даже не сказал о нем Фуонг, когда мы сели обедать в нашей комнате по улице Катина и она надела свое самое красивое шелковое платье в цветах, — ведь в тот день исполнилось ровно два года с тех пор, как мы встретились в «Гран монд» в Шолоне.

Никто из нас не помянул о нем, когда мы проснулись наутро после его смерти. Фуонг встала раньше меня и приготовила чай. Нельзя ревновать к покойнику, и в то утро мне казалось, что прежнюю жизнь легко начать сначала.

— Ты будешь ночевать сегодня здесь? — спросил я Фуонг небрежным тоном, жуя рогульку.

— Мне придется сходить за вещами.

— Там, наверно, полиция, — сказал я. — Пожалуй, лучше мне пойти с тобой.

Больше в тот день мы не коснулись темы о Пайле.

Пайл занимал квартиру в новой вилле, недалеко от улицы Дюрантон — одной из тех магистралей города, которые французы постоянно делили на части в память о своих генералах; таким образом улица де Голля, после троекратного деления, стала и улицей Леклерка, а та в свою очередь рано или поздно вдруг станет и улицей де Латтра. Сегодня должна была прилететь из Европы

какая-то важная персона: вдоль всего пути к резиденции верховного комиссара через каждые двадцать шагов лицом к тротуару выстроились полицейские.

У дома Пайла, на дорожке, посыпанной гравием, стояло несколько мотоциклов. Вьетнамец-полицейский проверил мое удостоверение. Он не пустил Фуонг в дом, и я пошел разыскивать французского офицера. В ванной Виго мыл руки мылом Пайла и вытирал их полотенцем Пайла. На рукаве его костюма было жирное пятно, — машинное масло, вероятно, тоже было Пайла.

— Что нового? — спросил я.

— Машину его мы нашли в гараже. Бензина в ней нет. Вчера ночью он взял, по-видимому, велорикшу. Или чью-нибудь машину. А может, бензин вылили.

— Он мог пойти и пешком, — сказал я. — Разве вы не знаете американцев?

— Ведь ваша машина сгорела? — задумчиво продолжал Виго. — У вас есть новая?

— Нет.

— В общем, это неважно.

— Да.

— У вас есть какие-нибудь предположения? — спросил он.

— Сколько угодно.

— Расскажите.

— Видите ли, его могли убить вьетминцы. Они ведь убили в Сайгоне немало народу. Тело его было найдено возле моста в Дакоу, — это вьетминская территория, когда ваша полиция уходит оттуда на ночь. Он мог быть убит и агентами местной охранки, — такие случаи тоже известны. Может, им не нравилось, с кем он дружит. Может, его убили каодаисты за то, что он был знаком с генералом Тхе.

— А он был с ним знаком?

— Говорят. Может, его убил генерал Тхе за то, что он был знаком с каодаистами. Может, его убили приверженцы хоа-хао за то, что он заигрывал с генеральскими наложницами. Может, его убили просто с целью грабежа.

— Или просто из ревности, — сказал Виго.

— Или агенты французской охранки, — продолжал я, — которым не нравились его связи. А вы на самом деле хотите знать, кто его убил?

— Нет, — сказал Виго. — Я должен отчитаться, вот и все. Идет война, разве каждый год не убивают тысячи людей?

— Меня вы можете исключить из списка, — сказал я. — Я в этом деле не замешан. Не заме-

шан, — повторил я, словно заповедь. — Меня оно не касается.

Если жизнь так устроена, пусть дерутся, пусть любят, пусть убивают, — меня это не касается. Моим собратьям по перу нравится называть себя корреспондентами, — слово, которое может означать «соответчик», — я же предпочитаю титул репортера. Я описываю то, что вижу, и ни в чем не принимаю участия. Даже своя точка зрения — это тоже своего рода соучастие.

— Что вы здесь делаете?

— Я пришел за вещами Фуонг. Ваши полицейские ее не пускают.

— Ладно, пойдемте вместе.

— Это очень любезно с вашей стороны, Виго.

Пайл занимал две комнаты, кухню и ванную. Мы прошли в спальню. Я знал, где Фуонг могла держать свою корзинку — под кроватью. Мы вытащили ее оттуда вдвоем с Виго; там лежали книжки с картинками. Я вынул из гардероба ее одежду: два праздничных платья и штаны. Казалось, им здесь не место и они пробыли тут совсем недолго, всего несколько часов, словно бабочка, которая ненароком залетела в комнату. В ящике я нашел ее маленькие треугольные трусики и коллекцию шарфов. Так мало вещей надо было

уложить в корзинку, — куда меньше, чем берет с собой гость, уезжая за город на воскресенье.

В гостиной висела фотография ее с Пайлом. Они снялись в ботаническом саду, рядом с большим каменным драконом. Она держала собаку Пайла на поводке — черного чау с черной пастью. Собака была слишком черная. Я положил фотографию в корзинку.

— А что стало с собакой? — спросил я.

— Ее нет. Может, он взял ее с собой.

— Если она вернется, дайте на исследование землю с ее лап.

— Я не Лекок и даже не Мегрэ, а тут идет война.

Я подошел к книжной полке и стал разглядывать книги, стоявшие на ней в два ряда, — библиотеку Пайла. «Наступление красного Китая», «Угроза демократии», «Миссия Запада», — тут, по-видимому, было полное собрание сочинений Йорка Гардинга, а также множество отчетов конгресса, вьетнамский разговорник, история войны на Филиппинах, томик Шекспира. А что он читал для развлечения? Я нашел более легкую литературу на другой полке; карманное издание Томаса Вульфа, странную мистическую антологию под названием «Триумф жизни» и американский

чтец-декламатор. Был там и сборник шахматных задач. Все эти книги вряд ли могли украсить жизнь после рабочего дня, но, в конце концов, для этого у него была Фуонг. В глубине полки, засунутая за антологию, лежала книжка без переплета — «Физиология брака». Видно, и половую жизнь он изучал так же, как изучал Восток: по книгам. И паролем к этой жизни было слово «брак». Пайл считал, что человек непременно должен быть с кем-то неразрывно связан.

Письменный стол его был совершенно пуст. Я сказал:

— Ну и здорово же вы здесь почистили!

— А-а… Мне пришлось это сделать по поручению американской миссии. Вы ведь знаете, как бежит молва. Квартиру могли ограбить. Все его бумаги опечатаны. — Он говорил серьезно, без улыбки.

— Нашли что-нибудь компрометирующее?

— Мы не можем позволить себе найти что-нибудь, компрометирующее нашего союзника, — сказал Виго.

— Вы не будете возражать, если я возьму одну из этих книг? На память.

— Я отвернусь.

Мой выбор пал на «Миссию Запада» Йорка

Гардинга, и я положил ее в корзинку между платьями Фуонг.

— Неужели вы мне ничего не можете рассказать по-дружески? — спросил Виго. — Строго между нами. Мой доклад готов: его убили коммунисты. Можно предполагать, что это начало кампании против американской помощи. Но если говорить начистоту… Послушайте, от этой сухой материи у меня пересохло горло, не выпить ли нам здесь за углом стаканчик вермута?

— Еще рано.

— Он вам ни в чем не исповедовался, когда вы его видели в последний раз?

— Нет.

— А когда это было?

— Вчера утром. После большого взрыва.

Он подождал, чтобы я мог обдумать ответ. Допрос велся благородно.

— Вас не было дома, когда он зашел к вам вечером?

— Вечером? Нет, я был дома. Я не знал…

— Вам может понадобиться выездная виза. А ведь мы вправе ее задержать на самый неопределенный срок.

— Неужели вы думаете, — сказал я, — что я хочу вернуться на родину?

Виго посмотрел на яркий, безоблачный день за окном. Он заметил с грустью:

— Большинству людей хочется домой.

— Мне здесь нравится. Дома — уйма трудностей.

— Merde![13] — воскликнул Виго. — Сюда пожаловал сам американский атташе по экономическим вопросам. — Он повторил с издевкой: — Атташе по экономическим вопросам!

— Мне лучше уйти. Не то он захочет опечатать и меня тоже.

Виго сказал устало:

— Желаю удачи. Ну и наговорит же он мне неприятностей!

Когда я вышел, атташе стоял возле своего паккарда, пытаясь что-то втолковать шоферу. Атташе был пожилой тучный господин с раздавшимся задом и лицом, которое, казалось, не нуждается в бритве. Он окликнул меня:

— Фаулер, можете вы объяснить этому проклятому шоферу…

Я объяснил.

— Но я ведь говорил ему то же самое… Почему он всегда делает вид, что не понимает по-фран-

---

13 notes: 13
Ах, черт! (фр.)

цузски?

— По-видимому, все дело в произношении.

— Я прожил три года в Париже. Мое произношение сойдет и для этой вьетнамской образины.

— Глас демократии, — сказал я.

— Что?

— Так, по-моему, называется книжка Йорка Гардинга.

— Не понимаю. — Он подозрительно взглянул на корзинку, которую я нес. — Что тут у вас?

— Две пары белых шелковых штанов, две шелковые кофты, несколько пар женских трусиков, — если говорить точнее: ровно три. Все вещи — сугубо местного происхождения. Без американской помощи.

— Вы были у Пайла? — спросил он.

— Да.

— Слышали, что произошло?

— Да.

— Ужасная история, — сказал он. — Просто ужасная.

— Посланник, должно быть, очень расстроен?

— Еще бы. Он сейчас у верховного комиссара и потребовал свидания с президентом. — Взяв под руку, он отвел меня подальше от машины. — Вы ведь хорошо знали молодого Пайла? Не могу при-

мириться с тем, что произошло. А я знал его отца, профессора Гарольда Ч. Пайла, — вы наверняка о нем слышали?

— Нет.

— Крупнейший в мире специалист по подводной эрозии. Неужели вы не обратили внимания на его портрет на обложке «Тайма», с месяц назад?

— Кажется, обратил. На заднем плане полуразрушенный утес, а на переднем — очки в золотой оправе.

— Это он. Мне пришлось сочинить телеграмму родным. Просто ужас! Я любил мальчика, как родного сына.

— Тем роднее вам будет его отец.

Он устремил на меня свои влажные карие глаза.

— Какая муха вас укусила? Разве можно так говорить? Прекрасный молодой человек…

— Простите, — сказал я. — Смерть действует на людей по-разному. — Может, он и в самом деле любил Пайла. — Что вы сообщили в телеграмме?

Он процитировал дословно, без улыбки:

— «С искренним соболезнованием сообщаю, что ваш сын пал смертью храбрых за дело демократии». Телеграмму подписал сам посланник.

— Смертью храбрых? — переспросил я. — А это их не введет в заблуждение? Я имею в виду его родных. Ведь миссия экономической помощи с виду не похожа на армию. Разве вам дают ордена «Пурпурного сердца»?

Он произнес негромко, но многозначительно:

— Пайл выполнял особые задания.

— Ну, об этом-то мы все догадывались.

— Но он сам, надеюсь, не болтал?

— Нет, что вы! — И мне сразу вспомнились слова Виго: «Очень тихий американец».

— У вас есть какие-нибудь подозрения? — спросил атташе. — Почему они его убили? И кто это сделал?

И вдруг я разозлился: как они мне надоели, вся эта свора, со своими личными запасами кока-колы, с портативными госпиталями, джипами и орудиями отнюдь не последнего образца! Я сказал:

— Они убили его потому, что он был слишком наивен, чтобы жить. Он был молод, глуп, невежда и впутался не в свое дело. Он не имел представления о том, что здесь происходит, так же как и вы все, а вы его снабжали деньгами и пичкали сочинениями Йорка Гардинга, приговаривая: «Вперед! Вперед! Завоюй Восток для демократии!»

Он видел только то, о чем ему прожужжали уши на лекциях, а наставники его одурачили. Даже видя мертвеца, он не замечал его ран и бубнил: «Красная опасность» или «Воин демократии»…

— А я-то думал, что вы — его друг, — сказал он с укором.

— Я и был его другом. Мне так хотелось, чтобы он сидел дома, читал воскресные приложения к газетам и болел за бейсбол. Мне так хотелось, чтобы он мирно жил с какой-нибудь американочкой, которая читает книжки только по выбору своего клуба.

Он смущенно откашлялся.

— Ну да, конечно. Совсем забыл. Поверьте, Фаулер, все мои симпатии были на вашей стороне. Он поступил очень дурно. Не скрою, у нас с ним был длинный разговор по поводу этой девушки. Видите ли, я имел удовольствие знать профессора Пайла и его супругу…

— Виго вас ждет, — сказал я и пошел от него прочь. Тут он впервые заметил Фуонг, и когда я оглянулся, он смотрел нам вслед с мучительным недоумением: извечный старший брат, который ничего не понимает в делах младшего.

3

Пайл впервые встретил Фуонг в том же «Континентале» месяца через два после своего приезда. Наступал вечер, а с ним и та мгновенная прохлада, которую приносит заход солнца; в переулках зажигали свечи. На столиках, где французы играли в «восемьдесят одно», стучали кости, а девушки в белых шелковых штанах возвращались на велосипедах домой по улице Катина. Фуонг пила оранжад, я — пиво, и мы сидели молча, довольные тем, что мы вместе. Но вот Пайл нерешительно подошел к нашему столику, и я их познакомил. У него была манера в упор глазеть на девушек, словно он их никогда не видел, а потом краснеть от смущения.

— Я вот все хотел спросить, не согласитесь ли вы с вашей дамой, — сказал Пайл, — пересесть к моему столику. Один из наших атташе…

Это был атташе по экономическим вопросам. Он так и сиял улыбкой с террасы над нами, — широкой, приветливой, сердечной улыбкой уверенного в себе человека, который «не теряет своих друзей, потому что употребляет самые лучшие средства от пота». Я не раз слышал, как его

звали «Джо», но так и не узнал его фамилии. Он поднял страшную суету, шумно отодвигая стулья и вызывая официанта, хотя в «Континентале» вам все равно могли подать только пиво, коньяк с содой или вермут-касси.

— Вот не надеялся вас здесь встретить, Фаулер, — сказал Джо. — А мы ожидаем наших ребят из Ханоя. Там, говорят, было настоящее сражение. Почему вы не с ними?

— Мне надоело летать по четыре часа, чтобы попасть на пресс-конференцию, — сказал я.

Он неодобрительно поглядел на меня.

— Наши ребята прямо горят на работе. Подумать только, они ведь могли бы зарабатывать вдвое больше и без всякого риска, если бы занялись торговыми делами или писали для радио.

— Но тогда им пришлось бы работать, — сказал я.

— Они, как боевые кони, чуют запах битвы, — продолжал он ликующим тоном, не слушая того, что ему не хотелось слышать. — Билл Гренджер — его хоть привязывай, когда где-нибудь пахнет дракой.

— Вот тут вы правы. На днях я видел, как он дрался в баре «Спортинг».

— Вы понимаете, что я говорю совсем не об

этом.

Два велорикши, бешено вертя педали, пронеслись по улице Катина и картинно замерли у дверей «Континенталя». В первой коляске сидел Гренджер. Во второй лежала серая, бессловесная груда, которую Гренджер стал выволакивать на тротуар.

— Давай, Мик, — приговаривал он. — Ну, идем. — Потом он стал препираться с рикшей. — На, — сказал он. — Хочешь бери, хочешь нет, — и бросил на землю в пять раз больше денег, чем полагалось.

Атташе по экономическим вопросам сказал нервно:

— Наши ребята тоже хотят немножко отдохнуть.

Гренджер кинул свою ношу на стул. Потом он заметил Фуонг.

— Ишь, старый черт, — заорал он. — Где ты ее подцепил, Джо? Вот не думал, что ты еще на это способен… Простите, мне надо в клозет. Присмотрите за Миком.

— Здоровая солдатская прямота, — заметил я.

Пайл сказал серьезно, снова покраснев:

— Я ни за что бы вас не пригласил, если бы знал…

Серая куча на стуле зашевелилась, и голова упала на стол, будто жила отдельно от всего остального. Она испустила вздох, длинный свистящий вздох, полный беспредельной скуки, а потом замерла снова.

— Вы его знаете? — спросил я у Пайла.

— Нет. Он газетчик?

— Я слышал, что Билл называл его Миком, — напомнил атташе по экономическим вопросам.

— Кажется, у «Юнайтед Пресс» теперь новый корреспондент?

— Того я знаю. А он не из вашей миссии по экономическим вопросам? Но вы, конечно, не можете знать всех ваших сотрудников, — их тут у вас сотни.

— Кажется, он — не наш, — сказал атташе по экономическим вопросам. — Я такого не помню.

— Можно поискать у него удостоверение, — предложил Пайл.

— Бога ради, не будите его. Хватит с нас одного пьяного. Гренджер-то уж во всяком случае знает, кто он такой.

Но и Гренджер этого не знал. Он вернулся из уборной мрачный.

— Кто эта дамочка? — спросил он угрюмо.

— Мисс Фуонг — приятельница Фаулера, —

чопорно объяснил ему Пайл. — Мы хотели бы выяснить, кто…

— Где он ее подцепил? В этом городе надо быть поосторожнее. — И он прибавил угрюмо: — Слава богу, у нас по крайней мере есть пенициллин.

— Билл, — сказал атташе по экономическим вопросам, — мы хотели спросить вас, кто такой Мик.

— Хоть убейте, не знаю.

— Но ведь вы его сюда привезли.

— Эти лягушатники не умеют пить виски. Парень совсем окосел.

— Он француз? А мне казалось, что вы звали его Миком.

— Надо же его как-нибудь звать, — возразил Гренджер. Он нагнулся к Фуонг. — Эй, ты! Хочешь еще стакан оранжада? Ты сегодня уже занята?

— Она всегда занята, — сказал я.

Атташе по экономическим вопросам поспешил вмешаться:

— Как идет война, Билл?

— Большая победа к северо-западу от Ханоя. Французы отбили две деревни, хоть они и не сообщали, когда эти деревни были отданы. Большие потери у вьетминцев. Свои потери французы еще не смогли подсчитать. Сообщат через недель-

ку-другую.

— Ходят слухи, — сказал атташе по экономическим вопросам, — что вьетминцы прорвались в Фат-Дьем, сожгли храм и выгнали епископа.

— В Ханое о таких вещах не рассказывают. Это ведь не победа.

— Один из наших санитарных отрядов не смог пробраться за Нам-Динь, — сказал Пайл.

— Неужели вы так далеко летали, Билл? — спросил атташе.

— За кого вы меня принимаете? Я корреспондент, у меня пропуск, он не позволяет преступать положенные Границы. Я лечу на аэродром в Ханое. Мне дают машину до Дома прессы. Французы организуют полет над двумя городками, которые они взяли обратно, и показывают нам, что над этими городками развевается трехцветное знамя. Правда, с такой высоты трудно определить, какое это знамя. Потом они созывают пресс-конференцию, и полковник объясняет нам, что мы видели. Потом мы сдаем наши телеграммы в цензуру. Потом мы пьем. Там лучший бармен во всем Индокитае. Потом летим обратно.

Пайл, хмурясь, пил пиво.

— Не скромничайте, Билл, — сказал атташе по экономическим вопросам. — Вы помните

ваш отчет о дороге 66? Как вы тогда ее назвали? «Дорога в ад». За такую корреспонденцию нужно было дать Пулитцеровскую премию[14]. Помните ваш рассказ о человеке с оторванной головой, который стоял на коленях в канаве? И о другом человеке, который шел как во сне…

— Вы думаете, я и в самом деле был где-нибудь поблизости от их вонючей дороги? Стивен Крейн[15] умел писать о войне, никогда ее не видев. А чем я хуже. Да и что это за война? Дерьмовая война в колониях. Дайте-ка мне лучше чего-нибудь выпить. А потом раздобудем девочек. У вас вот есть за что подержаться. И я хочу подержаться тоже.

Я спросил Пайла:

— Как вы думаете, правду говорят насчет Фат-Дьема?

— Не знаю. А это важно? Если важно, — сказал он, — мне хотелось бы съездить туда и поглядеть своими глазами.

— Для кого важно? Для экономической мис-

---

14 notes: 14

ежегодно присуждаемая в США премия за лучшее художественное или музыкальное произведение, лучший образец журналистики и фоторепортажа

15 notes: 15

американский писатель (1871-1900)

сии?

— Да как вам сказать… Трудно провести границу. Медицина ведь тоже оружие, не так ли? А эти католики, они здорово настроены против коммунистов, а?

— Они торгуют с коммунистами. Епископ получает от коммунистов коров и бамбук для своих построек. На думаю, что католики — это та самая «третья сила», о которой мечтает Йорк Гардинг, — поддразнил я его.

— Сматывайтесь, — кричал Гренджер. — Нельзя же здесь киснуть всю ночь. Я еду во Дворец пятисот девушек.

— Если вы и мисс Фуонг не откажетесь со мной поужинать… — предложил Пайл.

— Вы можете поесть в «Шале», — прервал его Гренджер. — А я побалуюсь с девочками по соседству. Идем, Джо. Ты-то, надеюсь, мужчина?

Кажется, именно в ту минуту, когда я раздумывал, что такое мужчина, я впервые почувствовал нежность к Пайлу. Он сидел, чуть-чуть отвернувшись от Гренджера, и вертел пивную кружку с выражением полной отчужденности. Он сказал Фуонг:

— Вам, наверно, здорово надоели наши деловые разговоры, — я хочу сказать, разговоры о вашей

родине?

— Comment?[16]

— Что вы собираетесь делать с Миком? — спросил атташе.

— Бросить его здесь, — сказал Гренджер.

— Разве можно! Вы ведь даже не знаете, как его зовут.

— Давайте возьмем его с собой. Пусть им займутся девочки.

Атташе по экономическим вопросам затрясся от смеха. Его лоснящееся лицо расплылось, как на экране телевизора.

— Вы, молодые люди, — сказал он, — можете поступать как угодно, а я слишком стар для таких забав. Я увезу его к себе домой. Вы уверены, что он француз?

— Он говорил по-французски.

— Если вы дотащите его до моей машины…

Когда он отбыл, Пайл сел в коляску с Гренджером, а мы с Фуонг последовали за ними по дороге в Шолон. Гренджер попытался было подсесть к Фуонг, но Пайл оттащил его. Мы ехали по длинной пригородной дороге к китайскому кварталу, а мимо нас, под мягкой черной впадиной звезд-

---

16 notes: 16
Что? (фр.)

ного неба, неслась темная вереница французских броневиков, с устремленным вперед орудийным дулом и безмолвной, как изваяние, фигурой офицера: видно, опять какие-нибудь беспорядки в наемной армии секты Бинь-Ксюен — владелицы «Гран монд» и игорных домов в Шолоне. Ведь это был край непокорных феодалов. Совсем как в средние века в Европе. Но что здесь было нужно американцам? Колумб еще и не помышлял открывать их страну. Я сказал Фуонг:

— Этот Пайл мне нравится.

— Он тихий, — сказала Фуонг, и эпитет, который она употребила впервые, прижился, как школьная кличка! Даже Виго с зеленым козырьком на лбу и тот воспользовался им, рассказывая мне о смерти Пайла.

Я остановил рикшу у «Шале» и приказал Фуонг:

— Ступай займи нам столик. Я позабочусь о Пайле.

Во мне родилась потребность оберегать его. Мне и в голову не приходило, что я сам куда больше нуждаюсь в защите. Глупость молчаливо требует от вас покровительства, а между тем куда важнее защитить себя от глупости, — ведь она, словно немой прокаженный, потерявший

свой колокольчик, бродит по свету, не ведая, что творит.

Когда я дошел до Дворца пятисот девушек, Пайл и Гренджер были уже там. Я спросил стоявшего в воротах постового военной полиции.

— Deux Americains?[17] Молодой капрал Иностранного легиона бросил чистить револьвер и молча ткнул большим пальцем в дверь за собой, приправив жест шуткой по-немецки. Я ее не понял.

На огромном дворе, раскинутом под открытым небом, был час отдыха. На траве лежали или сидели на корточках сотни девушек и болтали с подругами. В маленьких каморках вокруг двора были отдернуты занавески; в одной из них усталая девушка лежала одна на постели, скрестив ступни ног. В Шолоне были беспорядки, солдат заперли в казармы, поэтому работы было мало: для тела настал отдых. Только кучка дерущихся, царапающихся и визжащих девушек говорила о том, что промысел еще жив. Штатские тут были беззащитны. Если штатский решал поохотиться на военной территории, — пускай сам заботится о себе и сам ищет спасения.

---

17 notes: 17
Где два американца? (фр.)

Я обучился тактике: разделяй я властвуй. Выбрав в окружившей меня толпе девушку, я тихонько подтолкнул ее к тому месту, где оборонялись Гренджер с Пайлом.

— Je suis un vieux, — сказал я. — Trop fatigue. — Она захихикала и прижалась ко мне. — Mon ami, il est tres riche, tres vigoureux[18].

— Tu es sale[19], — возразила она.

Я заметил Гренджера. Его лицо было красно и светилось торжеством: поведение девушек казалось ему очень лестным.

Одна из девушек держала Пайла под руку и старалась тихонько вывести его из круга. Я толкнул свою девушку в толпу и окликнул Пайла:

— Идите сюда.

Он поглядел на меня поверх толпы и сказал:

— Это ужасно. Просто ужасно!

Может, это была игра света, но лицо его в эту минуту казалось осунувшимся. Мне пришло в голову, что он, вероятно, еще девственник.

— Пойдемте, — сказал я ему. — Предоставьте их Гренджеру. — Я увидел, как он нащупывает

---

18 notes: 18

Я старик. Очень устал. А мой друг — он очень богат и очень молод (фр.)

19 notes: 19

ты свинья (фр.)

задний карман. Он, видно, и в самом деле хотел освободить его от пиастров и долларов. — Не будьте идиотом, — прикрикнул я. — Сейчас будет драка. — Моя девушка снова обернулась ко мне, и я опять толкнул ее в толпу, окружавшую Гренджера. — Non, non, — сказал я, — je suis un Anglais, pauvre, tres pauvre[20]. — Я схватил Пайла за рукав и вытащил его из толпы; на левой его руке, словно рыба, попавшая на крючок, висела девушка. Две или три другие пытались нас перехватить, прежде чем мы доберемся до ворот, откуда за нами наблюдал капрал, но, видимо, им было лень, и они не очень старались.

— А что мне делать с этой? — спросил Пайл.

— Она не доставит нам никаких хлопот, — ответил я, и в этот миг девушка бросила его руку и нырнула в толпу, окружавшую Гренджера.

— С ним ничего не случится? — спросил Пайл с беспокойством.

— Он получил то, что хотел: у него теперь есть за что подержаться.

Ночь казалась такой тихой, — только новый отряд броневиков проехал мимо, словно у этих людей и в самом деле была какая-то цель.

---

20 notes: 20
нет, нет, я бедный англичанин, совсем бедный (фр.)

— Ужасно, — сказал Пайл. — Я никогда бы не поверил... — И он добавил с грустным недоумением: — А они такие хорошенькие. — Он не завидовал Гренджеру, он жаловался на то, что добро — а изящество и красота ведь тоже своего рода добро — было вываляно в грязи и унижено. Пайл замечал страдание, когда оно мозолило ему глаза. (Я пишу об этом без издевки: на свете немало людей, которые и вовсе его не замечают.) Я сказал:

— Пойдем в «Шале». Фуонг нас ждет.

— Простите, — спохватился он. — Я совсем забыл. Вы не должны были оставлять ее одну.

— Ей ничего не грозит.

— Я хотел помочь Гренджеру... — Пайл снова погрузился в свои мысли, но когда мы входили в «Шале», он произнес с непонятным огорчением: — Я совсем забыл, что на свете много мужчин, которые...

Фуонг заняла нам столик у края площадки, отведенной для танцев; оркестр играл мелодию, модную в Париже лет пять назад. Танцевали две пары вьетнамцев, — маленьких, изящных, замкнутых; их облик говорил об утонченной цивилизации, с которой мы не могли тягаться. (Я узнал двоих: это был бухгалтер Индокитайского

банка, танцевавший со своей женой.) Чувствовалось, что они никогда не одевались небрежно, не говорили неуместных слов, не были жертвой грязных страстей. Если война здесь выглядела средневековой, то эти фигурки, казалось, принадлежали уже к восемнадцатому веку. Можно было предположить, что мсье Фам Ван Ту сочиняет в свободное время строгие, классические стихи, но случайно я знал, что он поклонник Вордсворта и пишет поэмы о природе. Свой отпуск он проводил в Далате[21], — английские озера были ему недоступны, но ему казалось, что там он к ним ближе всего. Он слегка поклонился, когда проходил мимо. Я подумал о том, что сейчас выделывает Гренджер в пятидесяти метрах отсюда.

Пайл извинялся перед Фуонг на скверном французском языке за то, что мы заставили ее ждать.

— C'est impardonnable[22], — сказал он.

— Где вы были? — спросила она его.

— Я провожал Гренджера домой, — ответил он.

— Домой? — сказал я и рассмеялся, а Пайл посмотрел на меня так, словно я был ничем не лучше Гренджера. Я вдруг увидел себя со сторо-

---

21 notes: 21
местечко в гористой местности на юге Вьетнама

22 notes: 22
это непростительно (фр.)

ны — таким, каким он видел меня: мужчиной средних лет со слегка воспаленными глазами и склонностью к полноте, неловким в любви, быть может, не таким горластым, как Гренджер, но зато более циничным, менее простодушным; и я на какое-то мгновение увидел Фуонг такой, какой она была тогда, в первый раз, когда промелькнула мимо моего столика в «Гран монд»: ей было восемнадцать лет, она танцевала в белом бальном платье под надзором старшей сестры, полной решимости устроить ей хорошую партию с европейцем. Какой-то американец купил талон, чтобы с ней потанцевать; он был пьян, хоть и не слишком, но, будучи новичком в стране, наверно, считал, что все дамы в «Гран монд» — проститутки. Когда они закружились по залу, он чересчур крепко прижал ее к себе, и вдруг неожиданно я увидел ее одну: она возвратилась на свое место рядом с сестрой, а он стоял среди танцующих одиноко, как потерянный, не понимая, что произошло. Девушка, имени которой я тогда не знал, сидела спокойно, с полным самообладанием, потягивая оранжад.

— Pent-on avoir l'honneur?[23] — произнес Пайл

---

23 notes: 23
Можете оказать мне честь? (фр.)

с чудовищным акцентом; мгновение спустя я увидел, как они молча танцуют в другом конце зала и Пайл держит ее так далеко от себя, что рискует потерять совсем. Он танцевал очень плохо, а она лучше всех в те дни, когда я ее знал в «Гран монд».

То было долгое и безнадежное ухаживание. Если бы я мог предложить ей замужество и брачный контракт, все было бы просто, и старшая сестра тихонько и тактично исчезала бы всякий раз, когда нам хотелось остаться вдвоем. Но прошло три месяца, прежде чем мне удалось побыть с ней наедине на балконе отеля «Мажестик», причем ее сестра то и дело допрашивала нас из соседней комнаты: когда же, наконец, мы вернемся в зал. На реке Сайгон при свете факелов разгружали торговое судно из Франции, колокольчики велорикш звенели, как телефонные звонки, а я себя чувствовал совсем как молодой и неопытный дурак, которому не хватает слов. Я в отчаянии вернулся к себе на улицу Катина, улегся в постель, даже не мечтая о том, что четыре месяца спустя Фуонг будет лежать рядом со мной, чуть-чуть задыхаясь и смеясь — ведь все случилось совсем не так, как она ожидала.

— Мсье Фулэр!

Я смотрел, как они танцевали, и не заметил, что ее сестра подавала мне знаки из-за другого столика. Теперь она подошла, и я нехотя пригласил ее присесть. Мы недолюбливали друг друга с той самой ночи в «Гран монд», когда она почувствовала себя дурно и я проводил Фуонг домой.

— Я не видела вас целый год, — сказала она.

— Я так часто уезжаю в Ханой.

— Кто ваш друг? — спросила она.

— Некий Пайл.

— Чем он занимается?

— Числится в американской экономической миссии. Знаете, поставляет электрические швейные машинки для голодающих.

— А есть такие машинки?

— Не знаю.

— Но голодающие вообще не пользуются швейными машинками. И там, где они живут, нет электричества.

Она всегда понимала все совершенно буквально.

— Ну, об этом вам придется спросить Пайла, — сказал я.

— Он женат?

Я поглядел туда, где они танцевали.

— По-моему, он никогда не сходился с женщи-

ной ближе, чем сейчас.

— Танцует он очень плохо, — заметила она.

— Да.

— Но с виду он славный и такой положительный.

— Да.

— Можно мне посидеть с вами минутку? Мои друзья — такие скучные люди.

Музыка смолкла, и Пайл чопорно поклонился Фуонг, потом проводил ее на место и подвинул стул. Я видел» что такая подчеркнутая вежливость Фуонг нравится. И я подумал о том, чего она лишена, живя со мной.

— Это сестра Фуонг, — сказал я Пайлу. — Мисс Хей.

— Очень рад с вами познакомиться, — сказал он, покраснев.

— Вы из Нью-Йорка? — спросила она.

— Нет. Из Бостона.

— Это тоже в Соединенных Штатах?

— Ну да. Конечно.

— У вашего отца свое дело?

— В сущности говоря, нет. Он профессор.

— Учитель? — спросила она с легким разочарованием.

— Видите ли, он известный специалист. К нему

обращаются за консультациями.

— Насчет болезней? Он доктор?

— Не такой, как вы думаете. Он доктор технических наук. И знает все на свете о подводной эрозии. Вы слыхали, что это такое?

— Нет.

Пайл сделал слабую попытку сострить:

— Придется папе вам это объяснить.

— А он здесь?

— О, нет.

— Но он приедет?

— Нет, я просто пошутил, — сказал Пайл виноватым тоном.

— Разве у вас есть еще одна сестра? — спросил я мисс Хей.

— Нет. А что?

— Похоже на то, что вы допытываетесь, годится ли мистер Пайл ей в женихи.

— У меня только одна сестра, — сказала мисс Хей, тяжело опустив руку на колено Фуонг, как председатель, утверждающий ударом молотка повестку дня.

— У вас очень хорошенькая сестра, — сказал Пайл.

— Самая красивая девушка в Сайгоне, — поправила его мисс Хей.

— Не сомневаюсь.

— Пора заказывать ужин, — сказал я. — Даже самая красивая девушка в Сайгоне тоже должна есть.

— Мне не хочется есть, — заявила Фуонг.

— Она такая слабенькая, — решительно продолжала мисс Хей. В голосе ее прозвучала нотка угрозы. — За ней нужен уход. Она этого заслуживает. У нее ведь такая преданная натура.

— Моему другу повезло, — с глубокой серьезностью отозвался Пайл.

— Она любит детей, — сказала мисс Хей.

Я рассмеялся, а потом поймал взгляд Пайла: он глядел на меня с неподдельным возмущением, и мне вдруг стало ясно, что ему по-настоящему интересно то, что говорит мисс Хей. Я стал заказывать ужин (хотя Фуонг сказала, что ей не хочется есть, я знал, что она легко может одолеть бифштекс с кровью, двумя сырыми яйцами и гарниром); краем уха я прислушивался к тому, как он всерьез рассуждает о детях.

— Мне всегда хотелось иметь кучу детей, — говорил он. — Что может быть лучше большой семьи? Большая семья укрепляет брак. Да и для детей это полезно. Я рос единственным ребенком. Это большой минус — быть единственным

ребенком.

Я еще никогда не видел его таким разговорчивым.

— Сколько лет вашему папе? — алчно спросила мисс Хей.

— Шестьдесят девять.

— Старики так любят внуков. Очень жаль, что у моей сестры нет родителей, которые порадовались бы на ее детей, — если на ее долю все-таки выпадет такое счастье... — И она посмотрела на меня искоса и со злобой.

— Но у вас ведь тоже нет родителей, — вставил Пайл, по-моему, немножко некстати.

— Наш отец был из очень хорошей семьи. Он был мандарином в Гуэ.

— Я заказал ужин на всех, — сообщил я.

— Не рассчитывайте на меня, — возразила мисс Хей. — Мне надо вернуться к друзьям. Я хотела бы снова встретиться с мсье Пайлом. Может быть, вы это устроите?

— Когда вернусь с Севера, — пообещал я.

— А вы едете на Север?

— Мне, пожалуй, пора поглядеть на войну.

— Но ведь все журналисты оттуда вернулись, — заметил Пайл.

— Самое подходящее для меня время. Не нужно

будет встречаться с Гренджером.

— Если мсье Фулэр уедет, надеюсь, вы не откажетесь пообедать со мной и с сестрой. — Она добавила с мрачноватой вежливостью: — Чтобы она не скучала.

Когда мисс Хей ушла, Пайл сказал:

— Какая милая, культурная женщина. И так хорошо говорит по-английски.

— Объясни ему, что сестра служила в конторе в Сингапуре, — с гордостью сказала Фуонг.

— Вот оно что! В какой конторе?

— Импорт, экспорт, — перевел я слова Фуонг. — Она умеет стенографировать.

— Жаль, что у нас в экономической миссии мало таких, как она.

— Я с ней поговорю, — сказала Фуонг. — Она, наверно, захочет работать у американцев.

После ужина они снова пошли танцевать. Я тоже танцевал плохо, но Пайл этого не стеснялся, — а может, и я перестал стесняться, влюбившись в Фуонг. Ведь и до того памятного вечера, когда мисс Хей дурно себя почувствовала, я не раз танцевал с Фуонг в «Гран монд», хотя бы для того, чтобы с ней поговорить. Пайл не пользовался этой возможностью; с каждым новым кругом он только вел себя чуть менее церемонно и держал

Фуонг не так далеко, как прежде; однако оба они молчали. Глядя на ее ноги, такие легкие и точные, на то, с каким умением она управляла его неуклюжими па, я вдруг снова почувствовал, что в нее влюблен. Мне трудно было поверить, что через час-другой она вернется в мою неприглядную комнату с общей уборной и старухами, вечно сидящими на площадке.

Лучше бы я никогда не слышал о Фат-Дьеме, о том единственном месте на Севере, куда моя дружба с одним из французских морских офицеров позволяла мне проникнуть безнаказанно и без спроса. Зачем мне было туда стремиться — за газетной сенсацией? Во всяком случае, не в эти дни, когда весь мир хотел читать только о войне в Корее. Затем, чтобы умереть? Но зачем мне было умирать, если каждую ночь рядом со мной спала Фуонг? Однако я знал, что меня туда влечет. С самого детства я не верил в незыблемость этого мира, хоть и жаждал ее всей душой. Я боялся потерять счастье. Через месяц, через год Фуонг меня оставит. Если не через год, то через три. Только смерть не сулила никаких перемен. Потеряв жизнь, я никогда уже больше ничего не потеряю. Я завидовал тем, кто верит в бога, но не доверял им. Я знал, что они поддерживают

свой дух басней о неизменном и вечном. Смерть куда надежнее бога, и с ее приходом уйдет повседневная угроза, что умрет любовь. Надо мной больше не будет висеть кошмар грядущей скуки и безразличия. Я никогда не смог бы стать миротворцем. Порой убить человека — значит оказать ему услугу. Вы спросите — как же можно, ведь в писанин сказано: возлюбите врага своего? Значит, мы бережем друзей своих для страданий и одиночества.

— Простите, что я увел от вас мисс Фуонг, — услышал я голос Пайла.

— Я ведь плохо танцую, но люблю смотреть, как танцует она.

О ней всегда говорили в третьем лице, будто ее при этом не было. Порой она казалась незримой, как душевный покой.

Начался эстрадный концерт. Выступали певец, жонглер и комик — он говорил непристойности. Посмотрев на Пайла, я заметил, что он не понимает жаргона, на котором тот говорит. Пайл улыбался, когда улыбалась Фуонг, и смущенно смеялся, когда смеялся я.

— Любопытно, где сейчас Гренджер, — сказал я, и Пайл посмотрел на меня с укором.

Потом показали гвоздь программы: труппу

переодетых женщинами комедиантов. Многих из них я встречал днем на улице Катина — они прогуливались в старых штанах и свитерах, с небритыми подбородками, покачивая бедрами. Сейчас в открытых вечерних туалетах, с фальшивыми драгоценностями, накладной грудью и хрипловатыми голосами они казались нисколько не более отталкивающими, чем большинство европейских женщин в Сайгоне. Компания молодых летчиков громко выражала им свое одобрение, а те отвечали им обольстительными улыбками. Я был поражен неожиданной яростью Пайла.

— Фаулер, — сказал он, — пойдемте отсюда. С нас хватит. Это неприличное зрелище совсем не для нее.

4

С колокольни собора сражение выглядело даже живописным; оно будто застыло, как панорама англо-бурской войны в старом номере «Лондонских иллюстрированных новостей». Самолет сбрасывал на парашюте припасы сторожевому посту в странных, изъеденных непогодой известковых горах на границе Аннама, сверху похожих на груды пемзы; планируя, самолет всегда возвращался на то же самое место и поэтому с виду был неподвижен, а парашют словно висел в воздухе на полпути к земле. В долине то и дело поднимались плотные, точно окаменевшие дымки минных разрывов, а на залитой солнцем базарной площади пламя пожара казалось очень бледным. Маленькие фигурки парашютистов продвигались гуськом вдоль каналов, но с высоты они тоже казались неподвижными. Не шевелился и священник, читавший требник в углу колокольни. На таком расстоянии война выглядела прилизанной и аккуратной.

Я прибыл сюда на рассвете из Нам-Диня на десантном судне. Мы не смогли войти в порт потому, что он был отрезан противником, окру-

жавшим город кольцом; нам пришлось пристать возле горевшего рынка. При свете пожара мы были удобной мишенью, но почему-то никто не стрелял. Кругом было тихо, если не считать шипения и треска объятых пламенем ларьков. Было слышно, как переминается с ноги на ногу сенегальский часовой на берегу реки.

Я хорошо знал Фат-Дьем в былые дни — до того, как он подвергся нападению, — его единственную длинную и узкую улицу, застроенную деревянными ларьками; через каждые сто метров на ней либо стояла церковь, либо ее пересекал канал или мост. Ночью улица освещалась свечами или тусклыми керосиновыми фонарями (в Фат-Дьеме электричество горело только в квартирах французских офицеров); днем и ночью она была людной и шумной. Этот странный средневековый город, которым правил и владел феодал-епископ, был прежде самым оживленным во всем крае, а теперь, когда я высадился и зашагал к офицерским квартирам, он показался мне самым мертвым из всех городов. Обломки и битое стекло, запах горелой краски и штукатурки, пустота длинной улицы, насколько хватал глаз, — все напоминало мне одну из магистралей Лондона рано утром после отбоя воздушной тревоги;

казалось, вот-вот увидишь плакат «Осторожно: неразорвавшаяся бомба».

Фасад офицерского собрания словно ветром снесло, а дома напротив лежали в развалинах. Спускаясь вниз по реке от Нам-Диня, я узнал от лейтенанта Перо о том, что произошло. Он был серьезный молодой человек, масон, и все это, на его взгляд, было карой за суеверие его собратьев. Когда-то епископ Фат-Дьема побывал в Европе и вывез оттуда культ богоматери из Фатимы — явление девы Марии кучке португальских детей. Вернувшись домой, он соорудил в ее честь грот возле собора и каждый год устраивал крестный ход. Его отношения с полковником, командовавшим французскими войсками, были натянутыми с тех пор, как власти распустили наемную армию епископа. Полковник — в душе он сочувствовал епископу, ведь для каждого из них родина была важнее католичества — решился в этом году на дружеский жест и возглавил со своими старшими офицерами крестный ход. Никогда еще такая большая толпа не собиралась в Фат-Дьеме в честь богоматери из Фатимы. Даже многие буддисты, составлявшие около половины окрестного населения, не в силах были отказаться от такого развлечения, а тот, кто не верил ни

в какого бога, питал смутную надежду, что все эти хоругви, кадила и золотые дары уберегут его жилище от войны. Духовой оркестр — все, что осталось от армии епископа, — шествовал впереди процессии, за ним следовали, как мальчики из церковного хора, французские офицеры, ставшие набожными по приказу своего полковника; они вошли в ворота соборной ограды, миновали белую статую Спасителя на островке посреди небольшого озерка перед собором, прошли под колокольней с пристройками в восточном стиле и вступили в украшенный резьбой деревянный храм с его гигантскими колоннами из цельных стволов и скорее буддийским, чем христианским алтарем, покрытым ярко-красным лаком. Люди стекались сюда изо всех деревень, разбросанных среди каналов, со всей округи, напоминавшей голландский ландшафт, хотя вместо тюльпанов здесь были молодые зеленые побеги или золотые стебли зрелого риса, а вместо ветряных мельниц — церкви.

Никто не заметил, как к процессии присоединились сторонники Вьетмина; в ту же ночь, пока главные силы коммунистов продвигались в Тонкинскую долину через ущелья в известковых горах и на них беспомощно взирали французские

посты, передовой отряд нанес удар по Фат-Дьему.

Сейчас, четыре дня спустя, с помощью парашютистов противник был оттеснен почти на километр от города. Но это все же было поражением французов; журналистов сюда не пускали, и телеграммы не принимались — ведь газеты должны сообщать только о победах. Власти задержали бы меня в Ханое, если бы знали о цели моего путешествия, но чем больше удаляешься от главного штаба, тем слабее становится контроль, а когда попадешь в полосу неприятельского огня, ты делаешься желанным гостем; то, что представлялось угрозой для главного штаба в Ханое, неприятностью для полковника в Нам-Дине, было для лейтенанта на переднем крае развлечением, знаком внимания со стороны внешнего мира, — ведь несколько блаженных часов он мог порисоваться и увидеть в романтическом свете даже собственных убитых и раненых.

Священник захлопнул требник и сказал:

— Ну, вот и кончено. — Он был европеец, но не француз: епископ не потерпел бы французского священника в своей епархии. Он произнес извиняющимся тоном:

— Понимаете, мне приходится подниматься сюда, чтобы отдохнуть от этих несчастных.

Грохот минометного огня надвигался со всех сторон, — может быть, противник начал наконец отстреливаться. Странно, но неприятеля трудно было обнаружить: сражение шло не на одном узком фронте, а на десяти, зажатых каналами, крестьянскими усадьбами и затопленными рисовыми полями, где повсюду можно ожидать засады.

Тут же под нами стояло, сидело и лежало все население Фат-Дьема. Католики, буддисты, язычники — все забрали самые ценные свои пожитки: жаровни, лампы, зеркала, шкафы, циновки, иконы — и перебрались на территорию собора. Здесь, на Севере, с наступлением темноты становилось очень холодно, и собор был переполнен; другого убежища не было; даже на лестнице, которая вела на колокольню, заняли каждую ступеньку, а в ворота все время продолжали протискиваться новые люди, неся на руках детей и домашний скарб. Какова бы ни была их религия, они надеялись, что тут им удастся спастись. Мы увидели, как сквозь толпу к собору проталкивается молодой вьетнамец с ружьем, в солдатской форме; священник остановил его и взял у него винтовку. Патер, который был со мной на колокольне, объяснил:

— Мы здесь нейтральны. Это — владения господа бога.

«Какие странные, нищие люди населяют царство божие, — подумал я, — напуганные, замерзшие, голодные („Не знаю, как накормить их“, — посетовал священник); любой царь, кажется, подобрал бы себе подданных получше». Но потом я сказал себе: а разве всюду не одно и то же — самые могущественные цари далеко не всегда имеют самых счастливых подданных.

Внизу уже появились маленькие лавчонки.

— Неправда ли, это похоже на громадную ярмарку, — обратился я к священнику, — но почему-то здесь никто не улыбается.

— Они ужасно замерзли ночью, — ответил тот. — Нам приходится запирать двери монастыря, не то они бы его совсем заполонили.

— А у вас тепло?

— Не очень. Там бы не уместилась даже десятая часть всех этих людей. Я знаю, о чем вы думаете, — продолжал он. — Но важно, чтобы хоть не все мы заболели. У нас единственная больница в Фат-Дьеме, и наши медицинские сестры — это монахини.

— А хирург у вас есть?

— Я делаю, что могу. — Тут я заметил, что его

сутана забрызгана кровью. Он спросил: — Вы поднялись сюда за мной?

— Нет. Мне хотелось поглядеть вокруг.

— Я потому вам задал этот вопрос, что вчера ночью сюда ко мне приходил один человек исповедоваться. Он был немножко напуган тем, что видел там, у канала. Его можно понять.

— А там очень скверно?

— Парашютисты накрыли их перекрестным огнем. Вот бедняги. Я подумал, что, может, и у вас нехорошо на душе.

— Я не католик. И, пожалуй, даже не христианин.

— Удивительно, что делает с человеком страх.

— Со мной он ничего не сделает. Если бы я даже верил в бога вообще, мысль об исповеди мне все равно была бы противна. Стоять на коленях в одной из ваших будок! Открывать, душу постороннему человеку! Простите, отец, но я вижу в этом что-то нездоровое… недостойное мужчины.

— Вот как, — заметил он. — Вы, наверно, хороший человек. Видно, вам ни в чем не приходилось раскаиваться.

Я взглянул на церкви, они вереницей тянулись между каналами к морю. На второй по счету колокольне блеснул орудийный огонь. Я сказал:

— Не все ваши церкви сохраняют нейтралитет.

— Это невозможно, — ответил он. — Французы согласились оставить в покое территорию собора. О большем мы и не мечтаем. Там, куда вы смотрите, пост Иностранного легиона.

— Я пойду. Прощайте.

— Прощайте и счастливого пути. Берегитесь снайперов.

Чтобы попасть на главную улицу, мне пришлось локтями прокладывать себе путь сквозь толпу и миновать озеро и белую, как сахар, статую с распростертыми руками. Улицу можно было окинуть взглядом больше чем на километр в обе стороны, и на всем ее протяжении, помимо меня, было всего два живых существа: двое солдат в маскировочных касках; они медленно удалялись с автоматами наготове. Я говорю — живых, потому что на пороге одного из домов головой наружу лежал труп. Было слышно только, как жужжат мухи и замирает вдали скрип солдатских сапог. Я поспешил пройти мимо трупа, отвернувшись. Когда я оглянулся несколько минут спустя, я оказался наедине со своей тенью и не слышал больше ничего, кроме своих шагов. У меня было такое чувство, будто я стал мишенью в тире. Мне пришло в голову, что если на этой

улице со мной случится недоброе, пройдет много часов, прежде чем меня подберут: мухи успеют слететься отовсюду.

Миновав два канала, я свернул на боковую дорогу, которая вела к одной из церквей. Человек двенадцать парашютистов в маскировочном обмундировании сидели на земле, а два офицера разглядывали карту. Когда я подошел, никто не обратил на меня никакого внимания. Один из солдат с высокой антенной походного радиоаппарата сообщил: «Можно двигаться», — и все встали.

Я спросил на плохом французском языке, могу ли я пойти с ними. Одним из преимуществ этой войны было то, что лицо европейца само по себе служило пропуском на передовых позициях: европейца нельзя было заподозрить в том, что он вражеский лазутчик.

— Кто вы такой? — спросил лейтенант.

— Я пишу о войне, — ответил я.

— Американец?

— Нет, англичанин.

— У нас пустяковая операция, — сказал он, — но если вы хотите с нами пойти… — Он принялся снимать стальной шлем.

— Что вы? Не надо, — сказал я, — это для тех,

кто воюет.

— Как хотите.

Мы вышли из-за церкви гуськом, — лейтенант шагал впереди, — и задержались на берегу канала, ожидая, пока солдат с радиоаппаратом установит связь с патрулями на обоих флангах. Мины пролетали над нами и разрывались где-то невдалеке. По другую сторону церкви к нам присоединились еще солдаты, и теперь нас было человек тридцать. Лейтенант объяснил мне вполголоса, ткнув пальцем в карту:

— По донесениям, в этой деревне их человек триста. Может быть, накапливают силы к ночи. Не знаем. Никто их еще не обнаружил.

— Это далеко?

— Триста метров.

По радио пришел приказ, и мы молча тронулись; справа был прямой, как стрела, канал, слева — низкий кустарник, поля и опять низкий кустарник. — Все в порядке, — шепнул, успокаивая меня, лейтенант. Впереди, в сорока метрах от нас, оказался другой канал с остатками моста, с одной доской, без перил. Лейтенант подал знак рассыпаться, и мы уселись на корточки лицом к неразведанной земле, которая начиналась по ту сторону доски. Солдаты поглядели на воду, а

потом, как по команде, отвернулись. Я не сразу разглядел то, что увидели они, а когда разглядел, мне почему-то вспомнился ресторан «Шале», комедианты в женском платье, восторженно свиставшие летчики и слова Пайла: «неприличное зрелище!»

Канал был полон трупов; он напоминал мне похлебку, в которой чересчур много мяса. Трупы налезали один на другой; чья-то голова, серая, как у тюленя, и безликая, как у каторжника, с бритым черепом, торчала из воды, точно буек. Крови не было: вероятно, ее давно уже смыло водой.

Сколько же тут мертвецов, — их, верно, накрыло перекрестным огнем, когда они отступали; каждый из нас на берегу, должно быть, подумал: то же самое может случиться и со мной. Я тоже отвел глаза; мне не хотелось напоминания о том, как мало мы значим, как быстро и неразборчиво настигает нас смерть. Хотя рассудок и примирял меня с мыслью о ней, меня пугали ее объятия, как девственницу пугают объятия любви. Хорошо, если бы смерть предупредила меня о своем приходе, дала мне время подготовиться. Подготовиться к чему? Не знаю; не знаю к чему и как, — разве снова взглянуть на то, что я здесь оставлю.

Лейтенант уселся рядом с радистом и уставился

вниз, себе под ноги. Аппарат стал потрескивать, передавая приказания, и со вздохом, словно его разбудили, лейтенант встал. Во всем, что парашютисты делали, было какое-то удивительное чувство товарищества, словно все они были равными и вместе заняты делом, которое выполняли уже несчетное число раз. Никто не ждал приказов. Двое солдат направились к доске и попробовали пройти по ней, но тяжесть оружия нарушала равновесие; им пришлось усесться верхом и сидя продвигаться вперед. Третий солдат нашел в кустах у канала плоскодонку и пригнал ее туда, где стоял лейтенант. Шестеро из нас сели в нее и поплыли к другому берегу, но наткнулись на груду трупов и застряли. Солдат отталкивал лодку шестом, погружая его в человеческое месиво; один из трупов высвободился и поплыл на спине рядом с лодкой, как пловец, отдыхающий на солнце. Пристав к другому берегу, мы вылезли, не бросив взгляда назад. Никто не стрелял; мы были живы; смерть отступила — быть может, до следующего канала. Я слышал, как кто-то позади меня очень серьезно сказал: «Gott sei dank»[24]. — Кроме лейтенанта, почти все это были немцы.

---

24 notes: 24
Слава богу! (нем.)

Неподалеку виднелись деревенские строения; лейтенант пошел вперед, прижимаясь к стене, а мы следовали за ним гуськом с интервалами в три метра. Потом люди, все так же не ожидая приказа, рассыпались по усадьбе. Жизнь покинула ее — даже курицы и той не осталось; но на стене того, что прежде было жилой комнатой, висели две уродливые олеографии Христа и богородицы с младенцем, придававшие лачуге европейский вид. Эти люди во что-то верили; ты это понимал, даже не разделяя их веры, они были живыми существами, а не серыми обескровленными трупами.

Война так часто состоит в том, что ты сидишь и, ничего не делая, чего-то ждешь. Не зная точно, сколько у тебя еще есть времени, не хочется ни о чем думать.

Делая привычное дело, дозорные заняли свои посты. Все, что шевельнется теперь впереди, будет враг. Лейтенант сделал отметку на карте и доложил по радио нашу позицию. Наступила полуденная тишина; даже минометы замолкли, и в небе не слышалось моторов. Один из солдат забавлялся, ковыряя прутиком в жидкой грязи. Немного погодя стало казаться, что война нас позабыла. Надеюсь, Фуонг отправила мои костю-

мы в чистку. Холодный ветер ворошил солому во дворе, и один из солдат из скромности зашел за сарай, чтобы облегчиться. Я старался вспомнить, заплатил ли я английскому консулу в Ханое за бутылку виски, которую он мне уступил.

Впереди раздались два выстрела, и я сказал себе: «Вот оно. Началось». Мне не нужно было другого предупреждения. С волнением я ожидал, что передо мной откроется вечность.

Но ничего не случилось. Я снова предвосхитил события. Прошло несколько долгих минут, наконец вернулся один из дозорных и что-то доложил лейтенанту. Я расслышал:

— Deux civils[25].

Лейтенант сказал мне: «Пойдем посмотрим», — и, следуя за дозорным, мы двинулись по вязкой тропинке между двумя рисовыми полями. Метрах в двадцати от усадьбы мы нашли в узкой канаве то, что искали: женщину и маленького мальчика. Оба были безусловно мертвы: на лбу женщины был маленький опрятный сгусток крови, а ребенок казался спящим. Ему было лет шесть, и он лежал, подтянув костлявые коленки к подбородку, как зародыш в чреве матери.

---

25 notes: 25
двое штатских (фр.)

— Malchance![26] — воскликнул лейтенант. Он нагнулся и перевернул ребенка.

У него был образок на шее, и я сказал себе: «Амулет не помог!» Под трупом ребенка валялся недоеденный ломоть хлеба. «Ненавижу войну», — подумал я.

— Ну как — налюбовались? — спросил лейтенант.

В голосе его звучала такая ярость, словно я был виноват в смерти этих людей; видно, для солдата всякий штатский — это тот, кто нанимает его, чтобы он убивал, засчитывает в его жалованье плату за убийство, а сам увиливает от ответственности. Мы снова тронулись в усадьбу и молча присели на солому, укрывшись от ветра, который, как зверь, словно чуял приближение ночи. Тот солдат, что забавлялся с прутиком, пошел облегчиться, а тот, что облегчился, теперь забавлялся с прутиком. Я подумал: те двое в канаве, по-видимому, решились выйти из своего убежища в минуту затишья, после того как были выставлены часовые. А может, они лежат там давно — ведь хлеб совсем уже зачерствел. В этом доме они, видно, жили.

---

26 notes: 26
Не повезло! (фр.)

Снова заработало радио. Лейтенант устало произнес:

— Они будут бомбить деревню. На ночь патрули отзываются.

Мы поднялись и пустились в обратный путь, снова расталкивая шестом груду трупов, снова проходя гуськом мимо церкви. Мы зашли не очень далеко, а путешествие показалось нам длинным, и убийство тех двоих было его единственным результатом. Самолеты поднялись в воздух, и позади нас началась бомбежка.

Когда я добрался до офицерского собрания, где должен был переночевать, уже спустились сумерки. Температура упала до одного градуса выше нуля, и тепло было только на догоравшем рынке. Одна из стен дома была разрушена противотанковым ружьем, двери были разбиты, и брезент не защищал от сквозняков. Движок, дававший свет, не действовал, и нам пришлось построить целые баррикады из ящиков и книг, чтобы свечи не задувало. Я играл в «восемьдесят одно» на вьетминские деньги с неким капитаном Сорелем: нельзя было играть на выпивку, поскольку я был гостем здешних офицеров. Счастье переходило из рук в руки. Я раскупорил свою бутылку виски, чтобы согреться, и все уселись в кружок.

— Вот первый стакан виски, — заявил полковник, — который я пью с тех пор, как покинул Париж.

Один из лейтенантов вернулся с обхода постов.

— Надеюсь, нам удастся спокойно поспать, — сказал он.

— Они не полезут в атаку раньше четырех, — заметил полковник. — У вас есть оружие? — спросил он меня.

— Нет.

— Я вам раздобуду. Лучше всего положить револьвер под подушку. — Он любезно добавил: — Боюсь, что ложе покажется вам жестким. А в три тридцать начнется минометный обстрел. Мы стараемся помешать всякому скоплению противника.

— И долго, по-вашему, все это будет продолжаться?

— Кто знает... Нельзя больше ослаблять гарнизон Нам-Диня. Здесь это просто отвлекающий маневр. Если мы сумеем продержаться без подкреплений, не считая тех, которые мы получили два дня назад, это, пожалуй, даже можно будет назвать победой.

Ветер снова поднялся, пытаясь пробраться

в дом. Брезент вздулся (мне вспомнился заколотый за гобеленом Полоний), и пламя свечи заколебалось. Тени плясали, как в балагане. Нас можно было принять за труппу странствующих актеров.

— Ваши посты уцелели?

— Кажется, да. — В голосе его звучала безмерная усталость. — Поймите, это ведь ерунда, безделица по сравнению с тем, что происходит в ста километрах отсюда, в Хоа-Бине. Вот там настоящий бой.

— Еще стаканчик?

— Нет, спасибо. Ваше английское виски превосходно, но лучше оставить немного на ночь, оно может пригодиться. А теперь извините меня: я, пожалуй, посплю. Когда начнут бить минометы, спать уже не придется. Капитан Сорель, позаботьтесь о том, чтобы у мсье Фулэра было все, что нужно: свеча, спички, револьвер.

Полковник ушел в свою комнату. Это было сигналом для всех нас. Мне положили матрац на пол в маленькой кладовой, и я очутился в окружении деревянных ящиков. Ложе было жесткое, но сулило отдых. «Дома ли сейчас Фуонг?» — подумал я, как ни странно, без всякой ревности. Сегодня ночью обладание ее телом казалось совсем

несущественным, — может быть, потому, что в этот день я видел слишком много тел, которые не принадлежали никому, даже самим себе. Всех нас ждал один конец. Я быстро заснул и увидел во сне Пайла. Он танцевал один на эстраде, чопорно протянув руки к невидимой партнерше; сидя на чем-то вроде вертящегося табурета от рояля, я смотрел на него, а в руке держал револьвер, чтобы никто не помешал ему танцевать. Возле эстрады на доске, вроде тех, на которых объявляются номера в английских мюзик-холлах, было написано: «Танец любви. Высший класс». Кто-то зашевелился в глубине театра, и я крепче сжал револьвер. Тут я проснулся.

Рука моя сжимала чужой револьвер, а в дверях стоял человек со свечой. На нем была стальная каска, затенявшая глаза, и только когда он заговорил, я узнал Пайла. Он произнес смущенно:

— Извините меня, бога ради, я вас разбудил. Мне сказали, что я могу здесь переночевать.

Видно, я не совсем еще проснулся.

— Где вы взяли этот шлем? — спросил я.

— Мне его одолжили, — ответил Пайл неопределенно. Он втащил за собой походный рюкзак и извлек оттуда спальный мешок на шерстяной подкладке.

— Вы здорово экипировались, — сказал я, стараясь сообразить, как мы оба сюда попали.

— Это стандартное снаряжение нашего медицинского персонала. Мне его дали в Ханое. — Он вынул термос, маленькую спиртовку, головную щетку, бритвенный прибор и жестянку с продуктами. Я поглядел на часы. Было около трех часов утра.

Пайл продолжал распаковывать вещи. Из ящиков он соорудил небольшую подставку для зеркала и бритвенных принадлежностей. Я сказал:

— Сомневаюсь, достанете ли вы здесь теплую воду.

— Ничего, — возразил он, — у меня в термосе хватит воды и на утро.

Он уселся на спальный мешок и стал снимать ботинки.

— Объясните, как вы сюда попали? — спросил я.

— Меня пропустили до самого Нам-Диня для обследования нашего отряда по борьбе с трахомой, а потом я нанял лодку.

— Лодку?

— Что-то вроде плоскодонки… не знаю, как это здесь называется. По правде сказать, пришлось

ее купить. Но стоила она недорого.

— И вы спустились по реке один?

— Это было вовсе не трудно. Я плыл по течению.

— Вы сошли с ума.

— Почему? Конечно, я мог сесть на мель.

— Вас мог пристрелить французский речной патруль, вас мог потопить самолет. Вас могли прикончить вьетминцы.

Он смущенно хихикнул.

— А я все же здесь, — сказал он.

— Зачем?

— По двум причинам. Но я не хочу мешать вам спать.

— Я и не думаю больше спать. Скоро стрелять начнут.

— Можно мне отодвинуть свечу? Свет слишком яркий. — Он явно был не в своей тарелке.

— Итак, первая причина?

— Помните, на днях вы сказали, что здесь может быть интересно. В тот раз, когда мы были с Гренджером… и с Фуонг.

— Ну?

— Я и решил, что стоит мне сюда заехать. По правде сказать, мне было немножко совестно за Гренджера.

— Понятно. Только и всего?

— Оказалось, что все так просто. — Он стал играть шнурками от ботинок; последовала долгая пауза. — Я вам сказал не всю правду, — проговорил он наконец.

— Да ну?

— На самом деле я приехал сюда, чтобы повидаться с вами.

— Вы приехали, чтобы повидаться со мной?

— Да.

— Зачем?

Горя от смущения, он отвел взгляд от своих шнурков.

— Я должен был вам сообщить… что я влюблен в Фуонг.

Я не мог удержаться от смеха. Он говорил так серьезно, что это было просто неправдоподобно.

— Разве вы не могли дождаться моего возвращения? Я собираюсь вернуться в Сайгон на будущей неделе.

— Но вас могут убить, — возразил он. — И тогда я оказался бы человеком бесчестным. А потом я не знаю, смогу ли так долго воздерживаться от встреч с Фуонг.

— Неужели вы до сих пор воздерживались?

— Конечно. Надеюсь, вы не думаете, что я мог

объясниться с ней, не предупредив вас?

— Бывает и так, — заметил я. — А когда с вами это произошло?

— Кажется, в тот вечер, в «Шале», когда я с ней танцевал.

— Вот не думал, что между вами сразу возникнет такая близость.

Он поглядел на меня с озадаченным видом. Если мне казалось, что он ведет себя как сумасшедший, то мое поведение для него совершенно необъяснимо. Он сказал:

— Знаете, это, наверно, потому, что в том доме я насмотрелся тогда на всех этих девушек. Они были такие хорошенькие. Подумать только, — и она могла стать одной из них. Мне захотелось ее уберечь.

— Вряд ли она нуждается в вашей защите. Мисс Хей вас приглашала к себе?

— Да, но я не пошел. Я воздержался. Это было ужасно, — добавил он уныло. — Я чувствовал себя таким негодяем… Но вы ведь верите мне, правда?.. Если бы вы были женаты… словом, я бы ни за что не разлучил мужа с женой.

— Вы, кажется, не сомневаетесь, что можете нас разлучить, — сказал я. Впервые я понял, как он меня раздражает.

— Фаулер, — сказал он, — я не знаю, как ваше имя…

— Томас. А что?

— Можно мне звать вас Томом, ладно? У меня такое чувство, что все это нас как-то сблизило. Мы любим одну и ту же женщину.

— Что вы собираетесь делать дальше?

Он облокотился на ящик.

— Теперь, когда вы знаете, все пойдет по-другому, — воскликнул он. — Том, я попрошу ее выйти за меня замуж.

— Уж лучше зовите меня Томас.

— Ей придется сделать между нами выбор, Томас. Это будет только справедливо.

Справедливо? В первый раз я похолодел от предчувствия одиночества. Все это так нелепо, а все же… Может, он и никудышный любовник, зато я — нищий. Он обладает несметным богатством: он может предложить ей солидное положение в обществе.

Пайл стал раздеваться, а я думал: «К тому же у него есть еще и молодость». Как горько было завидовать Пайлу.

— Я не могу на ней жениться, — признался я. — У меня дома жена. Она никогда не даст мне развода. Она очень набожна.

— Мне вас так жаль, Томас. Кстати, если хотите знать, меня зовут Олден…

— Нет, я все-таки буду звать вас Пайлом. Для меня вы только Пайл.

Он залез в свой спальный мешок и протянул руку к свече.

— Ух, — сказал он, — и рад же я, что все теперь позади. Я так ужасно переживал. — Было совершенно ясно, что он больше не переживает.

Свеча погасла, но я различал очертания его коротко остриженной головы в отсветах пожара.

— Доброй ночи, Томас. Спите спокойно.

И сразу же, как ответная реплика в плохой комедии, завыли минометы; мины зашипели, завизжали, стали рваться.

— Господи боже мой, — сказал Пайл, — это что, атака?

— Они стараются сорвать атаку противника.

— Что ж, теперь нам, пожалуй, спать не придется?

— Наверняка.

— Томас, я хочу вам сказать, что я думаю о вас и о том, как вы все это восприняли. Вы восприняли это шикарно… шикарно, другого слова и не подберешь.

— Благодарю вас.

— Вы ведь пожили на свете куда больше моего. Знаете, в каком-то смысле жизнь в Бостоне сужает ваши горизонты. Даже если вы не принадлежите к самым знатным семьям, вроде Лоуэллов или Кэботов. Дайте мне совет, Томас.

— Насчет чего?

— Насчет Фуонг.

— На вашем месте я бы не доверял моим советам. Все-таки я лицо заинтересованное. Я хочу, чтобы она осталась со мной.

— Ах, что вы, разве я не знаю, какой вы порядочный человек! Ведь для нас обоих ее интересы выше всего.

И вдруг его ребячество меня взбесило.

— Да наплевать мне на ее интересы! — взорвался я. — Возьмите их себе на здоровье. А мне нужна она сама. Я хочу, чтобы она жила со мной. Пусть ей будет плохо, но пусть она живет со мной… Плевать мне на ее интересы.

— Ах, что вы… — протянул он в темноте слабым голосом.

— Если вас заботят только ее интересы, — продолжал я, — оставьте Фуонг, ради бога, в покое. Как и всякая женщина, она предпочитает… — Грохот миномета уберег бостонские уши от крепкого англосаксонского выражения.

Но в Пайле было что-то несокрушимое. Он решил, что я веду себя шикарно, значит, я и должен был вести себя шикарно.

— Я ведь понимаю, Томас, как вы страдаете.

— А я и не думаю страдать.

— Не скрывайте, вы страдаете. Я-то знаю, как бы я страдал, если бы мне пришлось отказаться от Фуонг.

— А я и не думаю от нее отказываться.

— Ведь я тоже мужчина, Томас, но готов отказаться от всего на свете, только бы Фуонг была счастлива.

— Да она и так счастлива.

— Она не может быть счастлива… в ее положении. Ей нужны дети.

— Неужели вы верите во всю эту чушь, которую ее сестра…

— Сестре иногда виднее…

— Она думает, что у вас больше денег, Пайл, потому и старается втереть вам очки. Ей это удалось, честное слово.

— Я располагаю только своим жалованьем.

— Но вы получаете это жалованье долларами, а их можно выгодно обменять.

— Не стоит хандрить, Томас. В жизни всякое бывает. Я бы, кажется, все отдал, чтобы такая

история случилась с кем-нибудь другим, а не с вами. Это наши минометы?

— Да, «наши». Вы говорите так, словно она от меня уже уходит.

— Конечно, — сказал он без всякой уверенности, — она может решить остаться с вами.

— И что вы тогда будете делать?

— Попрошу перевода в другое место.

— Взяли бы да уехали, Пайл, не причиняя никому неприятностей.

— Это было бы несправедливо по отношению к ней, Томас, — сказал он совершенно серьезно. Я никогда не встречал человека, который мог бы лучше обосновать, почему он причиняет другим неприятности. Он добавил: — Мне кажется, вы не совсем понимаете Фуонг.

И, проснувшись много месяцев спустя, в это утро, рядом с Фуонг, я подумал: «А ты ее понимал? Разве ты предвидел то, что случится? Вот она спит рядом со мной, а ты уже мертв». Время порою мстит, но месть эта бывает запоздалой. И зачем только мы стараемся понять друг друга? Не лучше ли признаться, что это невозможно; нельзя до конца одному человеку понять другого: жене — мужа, любовнику — любовницу, а родителям — ребенка. Может быть, потому люди и выдумали

бога — существо, способное понять все на свете. Может, если бы я хотел, чтобы меня понимали и чтобы я понимал, я бы тоже дал околпачить себя и поверил в бога, но я репортер, а бог существует только для авторов передовиц.

— А вы уверены, что в Фуонг есть, что понимать? — спросил я Пайла. — Ради бога, давайте пить виски. Здесь слишком шумно, чтобы спорить.

— Не рановато ли для выпивки? — сказал Пайл.

— А по-моему, слишком поздно.

Я налил два стакана; Пайл поднял свой и стал глядеть сквозь него на пламя свечи. Рука его вздрагивала всякий раз, когда рвалась мина, но как-никак он совершил свое бессмысленное путешествие из Нам-Диня.

— Странно, что ни я, ни вы не можем сказать друг другу: «За вашу удачу!» — произнес Пайл.

Так мы и выпили без тоста.

5

Я думал, что меня не будет в Сайгоне всего неделю, но прошло почти три, прежде чем я вернулся. Выбраться из района Фат-Дьема оказалось еще труднее, чем туда попасть. Дорога между Нам-Динем и Ханоем была перерезана, авиации же было не до репортера, которому к тому же вовсе и не следовало ездить в Фат-Дьем. Потом я добрался до Ханоя, туда как раз привезли корреспондентов для того, чтобы объяснить им, какая была одержана победа, и когда увозили обратно, для меня не нашлось места в самолете. Пайл исчез из Фат-Дьема в то же утро, что приехал: он выполнил свою миссию — поговорил со мной о Фуонг, — и ничто его там больше не удерживало. В пять тридцать, когда прекратился минометный огонь, он еще спал и я пошел в офицерскую столовую выпить чашку кофе с бисквитами. Вернувшись, я его уже не застал. Я решил, что он пошел прогуляться, — после того как он проделал весь путь по реке от Нам-Диня, снайперы были ему нипочем; он так же не способен был представить себе, что может испытать боль или подвергнуться опасности, как и понять, какую боль он причиняет другим. Од-

нажды — это было несколько месяцев спустя — я вышел из себя и толкнул его в лужу той крови, которую он пролил. Я помню, как он отвернулся, поглядел на свои запачканные ботинки и сказал: «Придется почистить ботинки, прежде чем идти к посланнику». Я знал, что он уже готовит речь словами, взятыми у Йорка Гардинга. И все же он был по-своему человек прямодушный, и не странно ли, что жертвой его прямодушия всегда бывал не он сам, а другие, впрочем, лишь до поры до времени — до той самой ночи под мостом в Дакоу.

Только вернувшись в Сайгон, я узнал, что, пока я пил свой кофе, Пайл уговорил молодого флотского офицера захватить его на десантное судно; после очередного рейса оно высадило его тайком в Нам-Дине. Пайлу повезло, и он вернулся в Ханой со своим отрядом по борьбе с трахомой, за двадцать четыре часа до того, как власти объявили, что дорога перерезана. Когда я добрался, наконец, до Ханоя, он уже уехал на Юг, оставив мне записку у бармена в Доме прессы.

«Дорогой Томас, — писал он, — я даже выразить не могу, как шикарно Вы вели себя а ту ночь. Поверьте, душа у меня ушла в пятки, когда я Вас увидел. (А где же была его душа во время путе-

шествия вниз по реке?) На свете мало людей, которые приняли бы удар так мужественно. Вы вели себя просто великолепно, и теперь, когда я вам все сказал, я совсем не чувствую себя так гадко, как прежде. (Неужели ему нет дела ни до кого, кроме себя? - подумал я со злостью, сознавая в то же время, что он этого не хотел. Главное для него было в том, чтобы не чувствовать себя подлецом, — тогда вся эта история станет куда приятнее, — и мне будет лучше жить, и Фуонг будет лучше жить, и всему миру будет лучше жить, даже атташе по экономическим вопросам и посланнику и тем будет лучше жить. Весна пришла в Индокитай с тех пор, как Пайл перестал быть подлецом.) Я прождал Вас здесь 24 часа, но если не уеду сегодня, то не попаду в Сайгон еще целую неделю, а настоящая моя работа — на Юге. Ребятам из отряда по борьбе с трахомой я сказал, чтобы они к Вам заглянули, — они Вам понравятся. Отличные ребята и настоящие работяги. Пожалуйста, не волнуйтесь, что я возвращаюсь в Сайгон раньше Вас. Обещаю Вам не видеть Фуонг до Вашего приезда. Я не хочу, чтобы Вы потом думали, что я хоть в чем-то вел себя непорядочно.

С сердечным приветом Ваш *Олден*».

Снова эта невозмутимая уверенность, что «по-

том» потеряю Фуонг именно я. Откуда такая вера в себя? Неужели из-за высокого курса доллара? Когда-то мы, в Англии, называли хорошего человека «надежным, как фунт стерлингов». Не настало ли время говорить о любви, надежной, как доллар? Разумеется, долларовая любовь подразумевает и законный брак, и законного сына — наследника капиталов, и «день американской матери», хотя в конце концов она может увенчаться разводом в городе Рино или на Виргинских островах, — не знаю, куда они теперь ездят для своих скоропалительных разводов. Долларовая любовь — это благие намерения, спокойная совесть и пусть пропадает пропадом все на свете. У моей любви не было никаких намерений: она знала, какое ее ожидает будущее. Все, что было в моей власти, — сделать будущее не таким тяжким, подготовиться к нему исподволь, — а для этого даже опиум имел свой смысл. Но я никогда не предполагал, что будущее, к которому мне придется подготовить Фуонг, — это смерть Пайла.

Мне нечего было делать, и я отправился на пресс-конференцию. Там, конечно, был Гренджер. Председательствовал молодой и слишком красивый французский полковник. Он говорил по-французски, а переводил офицер рангом по-

ниже. Французские корреспонденты держались все вместе, как футбольная команда. Мне трудно было сосредоточиться на том, что говорит полковник; я думал о Фуонг: а что, если Пайл прав и я ее потеряю? Как тогда жить дальше?

Переводчик сказал:

— Полковник сообщает, что неприятель потерпел серьезное поражение и понес тяжелые потери — в размере целого батальона. Последние отряды противника переправляются теперь обратно через реку Красную на самодельных плотах. Их беспрерывно бомбит наша авиация.

Полковник провел рукой по своим элегантно причесанным соломенным волосам и, играя указкой, прошелся вдоль огромных карт на стене.

Один из американских корреспондентов спросил:

— А какие потери у французов?

Полковник отлично понял вопрос — обычно его задавали именно на этой стадии пресс-конференции, — но он сделал паузу в ожидании перевода, подняв указку и ласково улыбаясь, как любимый учитель в школе. Потом он ответил терпеливо и уклончиво.

— Полковник говорит, что наши потери невелики. Точная цифра еще не известна.

Это всегда было сигналом к атаке. Рано или поздно полковнику придется найти формулировку, которая позволит ему справиться с непокорными учениками, не то директор школы назначит более умелого преподавателя, который наведет порядок в классе.

— Неужели полковник всерьез хочет уверить нас, — заявил Гренджер, — что у него было время подсчитать убитых солдат противника и не было времени подсчитать своих собственных?

Полковник терпеливо плел паутину *лжи*, отлично зная, что ее сметет следующий же вопрос. Французские корреспонденты хранили угрюмое молчание. Если бы американцы вырвали у полковника признание, те не замедлили бы его подхватить, но они не хотели участвовать в облаве на своего соотечественника.

— Полковник говорит, что противник отброшен. Можно сосчитать убитых за линией фронта, но пока сражение продолжается, вы не должны ожидать сведений от наступающих французских частей.

— Дело вовсе не в том, что ожидаем мы, — сказал Гренджер, — дело в том, что знает штаб и чего он не знает. Неужели вы всерьез утверждаете, что каждый взвод не сообщает по радио о своих

потерях?

Терпение полковника истощилось. «Если бы только, — подумал я, — он не дал себя запутать с самого начала и твердо заявил, что он знает цифры, но не хочет их назвать. В конце концов, это была их война, а не наша. Даже сам господь бог не давал нам права требовать у него сведений. Не нам приходилось отбрехиваться от левых депутатов в Париже и отбиваться от войск Хо Ши Мина между Красной и Черной реками. Не нам приходилось умирать».

И вдруг полковник выкрикнул, что французские потери исчисляются как один к трем; затем он повернулся к нам спиной и в ярости уставился на карту. Убитые были его солдатами, его товарищами по оружию, офицерами, которые учились вместе с ним в Сен-Сире[27], — для него это были не пустые цифры, как для Гренджера.

— Вот теперь мы, наконец, кое-чего добились, — сказал Гренджер и с глупым торжеством оглядел своих коллег; французы, опустив головы, мрачно что-то строчили.

— Это куда больше того, что могут сказать ваши войска в Корее, — сказал я, сделав вид, что не

---

27 notes: 27
французская военная академия

понимаю его. Гренджер, ничуть не смутившись, перешел к другой теме.

— Спросите полковника, — сказал он, — что французы собираются делать дальше? Он говорит, что противник отходит через Черную реку…

— Красную реку, — поправил его переводчик.

— А мне все равно, какого цвета у вас тут реки. Мы хотим знать, что французы собираются делать дальше.

— Противник отступает.

— А что произойдет, когда он переберется на другой берег? Что вы будете делать тогда? Усядетесь на своем берегу и скажете: дело в шляпе?

С угрюмым терпением французские офицеры прислушивались к наглому голосу Гренджера. В наши дни от солдата требуется даже смирение.

— Может, ваши самолеты будут им сбрасывать новогодние открытки?

Капитан перевел добросовестно, вплоть до слов «новогодние открытки». Полковник одарил нас ледяной улыбкой.

— Отнюдь не новогодние открытки, — сказал он.

Мне кажется, Гренджера особенно бесила красота полковника. Он не был — по крайней мере в представлении Гренджера — настоящим мужчи-

ной. Гренджер изрек:

— Ничего другого вы и не сбрасываете.

И вдруг полковник свободно заговорил по-английски: он отлично знал язык.

— Если бы мы получили снаряжение, обещанное американцами, — сказал он, — у нас было бы что сбрасывать.

Несмотря на свои утонченные манеры, полковник, право же, был простодушным человеком. Он верил, что газетчику честь его страны дороже, чем сенсация. Гренджер спросил в упор (он был человек дельный, и факты отлично укладывались у него в голове):

— Вы хотите сказать, что снаряжение, обещанное к началу сентября, до сих пор не получено?

— Да.

Наконец-то Гренджер получил свою сенсацию; он начал строчить.

— Простите, — сказал полковник, — это не для печати, а для ориентации.

— Но позвольте, — запротестовал Гренджер, — это же сенсация. Тут мы сможем вам помочь.

— Нет, предоставьте это дипломатам.

— А разве мы чем-нибудь можем повредить?

Французские корреспонденты растерялись: они почти не понимали по-английски. Полков-

ник нарушил правила игры. Среди них поднялся ропот.

— Тут я не судья, — сказал полковник. — А вдруг американские газеты напишут: «Ох уж эти французы, вечно жалуются, вечно клянчат». А коммунисты в Париже будут нас обвинять: «Видите, французы проливают кровь за Америку, а Америке жаль для них даже подержанного вертолета». Ничего хорошего из этого не выйдет. В конце концов мы так и останемся без вертолетов, а противник так и останется на своем месте, в пятидесяти километрах от Ханоя.

— Я по крайней мере могу сообщить, что вам позарез нужны вертолеты?

— Вы можете сообщить, — сказал полковник, — что шесть месяцев назад у нас было три вертолета, а сейчас у нас один. Один, — повторил он с оттенком горестного недоумения. — Можете сообщить: если кого-нибудь ранят в бою, пусть даже легко, раненый знает, что он человек конченый. Двенадцать часов, а то и целые сутки на носилках до госпиталя, плохие дороги, авария, возможно, засада — вот вам и гангрена. Лучше уж, чтобы тебя убило сразу.

Французские корреспонденты подались вперед, стараясь хоть что-нибудь понять.

— Так и напишите, — сказал полковник; от того, что он был красив, его злость была еще заметнее. — Interpretez![28] — приказал он и вышел из комнаты, дав капитану непривычное задание: переводить с английского на французский.

— Ну и задал же я ему жару, — сказал с удовлетворением Гренджер и отправился в бар сочинять телеграмму.

Свою телеграмму я писал недолго: мне нечего было сообщить о Фат-Дьеме такого, что пропустил бы цензор. Если бы корреспонденция того стоила, я мог бы слетать в Гонконг и отослать ее оттуда, но была ли на свете такая сенсация, из-за которой стоило рисковать, чтобы тебя отсюда выслали? Сомневаюсь. Высылка означала конец жизни: она означала победу Пайла; и вот, когда я вернулся в гостиницу, его победа, мой конец подстерегали меня в почтовом ящике. Это была телеграмма: меня поздравляли с повышением по службе. Данте не смог выдумать подобной пытки для осужденных любовников. Паоло никогда не повышали в ранге, переводя из ада в чистилище.

Я поднялся к себе, в пустую комнату, где из крана капала холодная вода (горячей воды в Ханое

---

28 notes: 28
Переведите! (фр.)

не было), и сел на кровать, а собранная в узел сетка от москитов висела у меня над головой, как грозовая туча. Мне предстояло в Лондоне стать заведующим иностранным отделом газеты и каждый день в половине четвертого приезжать на остановку Блекфрайэрс, в мрачное здание викторианской эпохи с медным барельефом лорда Солсбери у лифта. Эту добрую весть мне переслали из Сайгона; интересно, дошла ли она до ушей Фуонг? Я больше не мог оставаться только репортером: мне нужно было обзавестись своей точкой зрения, и в обмен на такую сомнительную привилегию меня лишали последней надежды в соперничестве с Пайлом. Я мог противопоставить свой опыт его девственной простоте, а опыт был такой же хорошей картой в любовной игре, как и молодость, но теперь я уже не мог предложить Фуонг никакого будущего, ни единого года, а будущее было главным козырем. Я позавидовал самому последнему офицеру, которого снедала тоска по родине и подстерегала случайная смерть. Мне хотелось заплакать, но глаза мои были сухи, как водопроводная труба, подававшая горячую воду. Пусть другие едут домой, — мне нужна только моя комната на улице Катина.

После наступления темноты в Ханое стано-

вится холодно, а свет здесь горит не так ярко, как в Сайгоне, что куда более пристало темным платьям женщин и военной обстановке. Я поднялся по улице Гамбетты к бару «Пакс», — мне не хотелось пить в «Метрополе» с французскими офицерами, их женами и девушками; когда я дошел до бара, я услышал далекий гул орудий со стороны Хоа-Биня. Днем он тонул в уличном шуме, но теперь в городе было тихо, только слышалось, как звенели велосипедные звоночки на стоянках велорикш. Пьетри восседал на обычном месте. У него был странный продолговатый череп: голова торчала у него прямо на плечах, как груша на блюде; Пьетри служил в охранке и был женат на хорошенькой уроженке Тонкина, которой и принадлежал бар «Пакс». Его тоже не очень-то тянуло домой. Он был корсиканец, но любил Марсель, а Марселю предпочитал свой стул на тротуаре у входа в бар на улице Гамбетты. Я подумал, знает ли он уже, что написано в присланной мне телеграмме.

— Сыграем в «восемьдесят одно»? — спросил он.

— Ладно.

Мы стали кидать кости, и мне показалось немыслимым, что я когда-нибудь смогу жить

вдали от улицы Гамбетты и от улицы Катина, без вяжущего привкуса вермута-касси, привычного стука костей и орудийного гула, передвигавшегося вдоль линии горизонта, словно по часовой стрелке.

— Я уезжаю, — сказал я.

— Домой? — спросил Пьетри, бросая на стол четыре, два и один.

— Нет. В Англию.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Пайл напросился зайти ко мне выпить, но я отлично знал, что он не пьет. Прошло несколько недель, и наша фантастическая встреча в Фат-Дьеме казалась теперь совсем неправдоподобной, — даже то, что тогда говорилось, изгладилось из моей памяти. Наш разговор стал похож на полустертые надписи на римской гробнице, а я — на археолога, который бьется над тем, чтобы их прочесть.

Мне вдруг пришло в голову, что он меня разыгрывал и что разговор наш был лишь замысловатой, хоть и нелепой ширмой для того, что его на самом деле интересовало: в Сайгоне поговаривали, что он — агент той службы, которую почему-то зовут «секретной». Не поставлял ли он американское оружие «третьей силе» — трубачам епископа (ведь это было все, что осталось от его молоденьких и насмерть перепуганных наемников, которым никто и не думал платить жалованье)? Телеграмму, которая так долго ждала меня в Ханое, я спрятал в карман. Незачем было рассказывать о ней Фуонг: стоило ли отравлять плачем и ссорами те несколько

месяцев, которые нам осталось с ней провести? Я не собирался просить о разрешении на выезд до последней минуты, — вдруг у Фуонг в иммиграционном бюро окажется родственник?

— В шесть часов придет Пайл, — сказал я ей.

— Я схожу к сестре, — заявила она.

— Ему, вероятно, хочется тебя повидать.

— Он не любит ни меня, ни моих родных. Он ни разу не зашел к сестре, пока тебя не было, хотя она его и приглашала. Сестра очень обижена.

— Тебе незачем уходить.

— Если бы Пайл хотел меня видеть, он пригласил бы нас в «Мажестик». Он хочет поговорить с тобой с глазу на глаз — по делу.

— Какое у него может быть дело?

— Говорят, он ввозит сюда всякие вещи.

— Какие вещи?

— Лекарства, медикаменты…

— Это для отрядов по борьбе с трахомой.

— Ты думаешь? На таможне их запрещено вскрывать. Они идут как дипломатическая почта. Но как-то раз, по ошибке, один пакет вскрыли. Первый секретарь пригрозил, что американцы больше ничего сюда не будут ввозить. Служащий был уволен.

— А что было в пакете?

— Пластмасса.

Я спросил рассеянно:

— Зачем им пластмасса?

Когда Фуонг ушла, я написал в Англию. Через несколько дней сотрудник агентства Рейтер собирался в Гонконг и мог отправить мое письмо оттуда. Я знал, что попытка моя безнадежна, но хотел сделать все, что от меня зависело, чтобы потом себя не попрекать. Сейчас совсем не время менять корреспондента, писал я главному редактору. Генерал де Латтр умирает в Париже, французы собираются оставить Хоа-Бинь. Север никогда еще не был в такой опасности. А я не гожусь на роль заведующего иностранным отделом: я — репортер, у меня ни о чем не бывает своего мнения. В заключение я даже подкрепил свои доводы личными мотивами, хотя и не рассчитывал, что человечность обитает под лучами электрической лампочки без абажура, среди зеленых козырьков и стандартных фраз: «в интересах газеты», «обстановка требует...» и т.д.

«Личные мотивы, — писал я, — вынуждают меня глубоко сожалеть о моем переводе из Вьетнама. Не думаю, чтобы я смог плодотворно работать в Англии, где у меня будут затруднения не только материального, но и семейного харак-

тера. Поверьте, если бы я мог, я совсем бросил бы службу, только бы не возвращаться в Англию. Я пишу об этом, чтобы Вы поняли, как мне не хочется отсюда уезжать. Вы, видимо, не считаете меня плохим корреспондентом, а я впервые обращаюсь к Вам с просьбой».

Я перечел свою статью о сражении в Фат-Дьеме, которую я тоже отправлял через Гонконг. Французы теперь не будут в обиде, — осада снята и поражение можно изобразить как победу. Потом я разорвал последнюю страницу письма к редактору: все равно «личные мотивы» послужат лишь поводом для насмешек. Все и так знали, что у каждого корреспондента есть своя «туземная» возлюбленная. Главный редактор посмеется по этому поводу в беседе с дежурным редактором, а тот, раздумывая об этой пикантной ситуации, вернется в свой домик в Стритхеме и уляжется в кровать рядом с верной женой, которую он много лет назад вывез из Глазго. Я мысленно видел этот дом, в котором нечего рассчитывать на сострадание: поломанный трехколесный велосипед в прихожей, разбитую кем-то из домашних любимую трубку, а в гостиной — детскую рубашонку, к которой еще не пришили пуговку… «Личные мотивы». Выпивая в пресс-клубе, мне не хотелось

бы выслушивать шуточки, вспоминая о Фуонг.

В дверь постучали. Я отворил Пайлу, и его черный пес прошел в комнату первым. Пайл оглядел комнату через мое плечо и убедился, что она пуста.

— Я один, — сказал я. — Фуонг ушла к сестре.

Пайл покраснел. Я заметил, что он был в гавайской рубашке, хотя и довольно скромной по рисунку и расцветке. Меня удивило, что он так вырядился: неужели его обвинили в антиамериканской деятельности?

— Надеюсь, не помешал… — сказал он.

— Конечно, нет. Хотите чего-нибудь выпить?

— Спасибо. У вас есть пиво?

— Увы! У нас нет холодильника, приходится посылать за льдом. Стаканчик виски?

— Если можно, самую малость. Я не поклонник крепких напитков.

— Без примеси?

— Побольше содовой, если у вас ее вдоволь.

— Я не видел вас с Фат-Дьема.

— Вы получили мою записку, Томас?

Назвав меня по имени, он словно заявлял этим, что тогда и не думал шутить: он не прячется и открыто пришел сюда, чтобы отнять у меня Фуонг. Я заметил, что его короткие волосы были

аккуратно подстрижены; видно, и гавайская рубашка тоже должна была изображать брачное оперение самца.

— Я получил вашу записку. Хорошо бы дать вам по уху.

— Конечно, — сказал он. — И вы были бы правы, Томас. Но в колледже мы занимались боксом, и я намного вас моложе.

— Верно. Пожалуй, не стоит.

— Знаете, Томас (я убежден, что и вы смотрите на это так же), мне неприятно говорить с вами о Фуонг за ее спиной. Я надеялся, что она будет дома.

— О чем же нам тогда говорить: о пластмассе? — Я не хотел нападать на него врасплох.

— Вы знаете? — удивился он.

— Мне рассказала Фуонг.

— Как она могла…

— Не беспокойтесь, об этом знает весь город. А разве это так важно? Вы собираетесь делать игрушки?

— Мы не любим, когда о нашей помощи другим странам осведомлены во всех подробностях. Вы ведь слышали, что такое конгресс, да и наши странствующие сенаторы тоже. У нас в отрядах были крупные неприятности из-за того, что мы

применяли не те лекарства, которые предусмотрены.

— А я все-таки не понимаю, зачем вам пластмасса.

Его черный пес сидел посреди комнаты, тяжело дыша от жары, занимая слишком много места; язык у собаки был похож на обугленный сухарь. Пайл ответил как-то неопределенно:

— Да знаете, мы собирались наладить кое-какие местные промыслы, но приходится остерегаться французов. Они хотят, чтобы все товары покупались во Франции.

— Понятно. Война стоит денег.

— Вы любите собак?

— Нет.

— А мне казалось, что англичане — большие любители собак.

— Нам кажется, что американцы — большие любители долларов, но, должно быть, и среди вас есть исключения.

— Не знаю, как бы я жил без Герцога. Верите, иногда я чувствую себя таким одиноким…

— Вас тут столько понаехало.

— Мою первую собаку звали Принц. Я назвал ее в честь Черного принца. Знаете, того самого парня, который…

— Вырезал всех женщин и детей в Лиможе?

— Этого я не помню.

— История обычно умалчивает о его подвиге.

Мне еще не раз предстояло видеть по его лицу, какую боль он испытывает всякий раз, когда действительность не отвечает его романтическим представлениям или когда кто-нибудь, кого он любит и почитает, падает с высоченного пьедестала, который он ему воздвиг. Однажды, помнится, я уличил Йорка Гардинга в грубейшей ошибке и мне же пришлось долго утешать Пайла.

— Людям свойственно ошибаться, — сказал я.

Пайл как-то неестественно хихикнул:

— Назовите меня болваном, но мне казалось, что он… непогрешим. Отец был так им очарован в тот раз, когда они встретились, а моему отцу совсем не легко угодить.

Большая черная собака, по кличке Герцог, попыхтев вволю и по-хозяйски освоившись в комнате, стала обнюхивать ее углы.

— Нельзя ли попросить вашу собаку посидеть спокойно?

— Ах, простите, пожалуйста. Герцог! Сидеть, Герцог. — Герцог уселся и стал шумно вылизывать половые органы. Я встал, чтобы налить

виски, и мимоходом ухитрился прервать его туалет. Тишина воцарилась ненадолго: Герцог принялся чесаться.

— Герцог такой умный, — сказал Пайл.

— А какая судьба постигла Принца?

— Мы жили на ферме в Коннектикуте, и его задавило машиной.

— Вас это очень расстроило?

— О да, я страдал! Он ведь так много значил в моей жизни. Но ничего не поделаешь, пришлось примириться. Все равно его не вернешь.

— А если вы потеряете Фуонг, с этим тоже сумеете примириться?

— О да, надеюсь. А вы?

— Сомневаюсь. Я могу даже взбеситься. Вы этого не боитесь, Пайл?

— Мне так хочется, чтобы вы звали меня Олденом, Томас.

— Лучше не надо. К Пайлу я уже привык. Так вы меня не боитесь?

— Конечно, нет. Вы, пожалуй, самый честный парень из всех, кого я знаю. Вспомните, как вы себя вели, когда я к вам ввалился.

— Помню. Перед тем как заснуть, я подумал: «Вот было бы славно, если бы началась атака и его убили». Вы пали бы смертью героя, Пайл. За

Демократию.

— Не смейтесь надо мной, Томас. — Он смущенно вытянул свои длинные ноги. — Хоть вы и считаете меня олухом, я понимаю, когда вы меня дразните…

— Я и не думал вас дразнить.

— Если говорить начистоту, вам ведь тоже хочется, чтобы ей было хорошо.

В этот миг послышались шаги Фуонг. У меня еще теплилась надежда, что он уйдет прежде, чем Фуонг вернется. Но и Пайл услышал ее шаги; он их узнал. Он сразу сказал: «А вот и она!», хотя и слышал ее шаги один-единственный раз, в тот первый вечер. Даже пес подошел к двери, которую я оставил открытой, чтобы было прохладнее, словно признал Фуонг членом семьи Пайла. Я один был здесь чужой.

— Сестры нет дома, — сказала Фуонг, исподтишка поглядывая на Пайла.

Я не знал, говорит она правду или, может быть, сестра сама отослала ее домой.

— Ты ведь помнишь мистера Пайла? — спросил я.

— Enchantee[29]. — Нельзя было вести себя более

---

29 notes: 29
очень рада (фр.)

чинно.

— Я счастлив, что вижу вас снова, — сказал он, краснея.

— Comment?[30]

— Она не очень хорошо понимает по-английски, — заметил я.

— Увы, а я прескверно говорю по-французски. Правда, я беру уроки. И уже немножко понимаю, когда мисс Фуонг говорит помедленнее.

— Я буду вашим переводчиком, — заявил я. — К здешнему произношению не сразу привыкнешь. Ну, что бы вы хотели ей сказать? Садись, Фуонг. Мистер Пайл пришел специально затем, чтобы тебя повидать. Вы уверены, — спросил я Пайла, — что мне не следует оставить вас наедине?

— Я хочу, чтобы вы слышали все, что я намерен сказать. Так будет куда честнее.

— Валяйте.

Он объявил торжественно — таким тоном, словно давно все это выучил наизусть, — что питает к Фуонг глубочайшую любовь и уважение. Он почувствовал их с той самой ночи, когда с ней танцевал. Мне он почему-то напомнил дворецкого, который водит туристов по особняку

---

30 notes: 30
Что? (фр.)

родовитой семьи. Сердце Пайла было парадными покоями, а в жилые комнаты он давал заглянуть лишь через щелочку, украдкой. Я переводил его речь с предельной добросовестностью, — в переводе она звучала еще хуже, — а Фуонг сидела молча, сложив на коленях руки, словно смотрела кинофильм.

— Поняла она? — спросил Пайл.

— По-видимому, да. Не хотите ли, чтобы я от себя добавил немножко пыла?

— Нет, что вы! — сказал он. — Переводите точно. Я не хочу, чтобы вы влияли на ее чувства.

— Понятно.

— Передайте, что я хочу на ней жениться.

Я передал.

— Что она ответила?

— Она спрашивает, говорите ли вы серьезно. Я заверил ее, что вы относитесь к породе серьезных людей.

— Вам не странно, что я прошу вас переводить?

— Да, пожалуй, это не очень-то принято.

— А с другой стороны, так естественно! Ведь вы — мой лучший друг.

— Спасибо.

— Вы первый, к кому я приду, если со мной

стрясется беда.

— А влюбиться в мою девушку — для вас тоже беда?

— Несомненно. Я бы предпочел, Томас, чтобы на вашем месте был кто-нибудь другой.

— Ладно. Что мне еще ей передать? Что вы не можете без нее жить?

— Нет, это слишком. И не совсем точно. Мне, конечно, пришлось бы отсюда уехать. Но человек может все пережить.

— Пока вы обдумываете свою речь, могу я замолвить словечко и за себя?

— Конечно, Томас. Это только справедливо.

— Ну как, Фуонг? — спросил я. — Хочешь меня бросить ради него? Он на тебе женится. А я не могу. Сама знаешь почему.

— Ты уедешь? — спросила она, и я вспомнил о письме редактора у себя в кармане.

— Нет.

— Никогда?

— Разве можно дать зарок? И он тебе не может этого пообещать. Браки расстраиваются. Часто они расстраиваются куда скорее, чем такие отношения, как наши.

— Я не хочу уходить, — сказала она, но ее слова меня не утешили, в них слышалось невысказан-

ное «но».

— По-моему, мне лучше выложить свои карты на стол, — заявил Пайл. — Я не богат. Но когда отец умрет, у меня будет около пятидесяти тысяч долларов. Здоровье у меня отличное: могу представить медицинское свидетельство — меня осматривали всего два месяца назад — и сообщить, какая у меня группа крови.

— Не знаю, как это перевести. Зачем ей ваша группа крови?

— Чтобы она была уверена в том, что у нас с ней могут быть дети.

— Так вот что в Америке нужно для любви: цифра дохода и группа крови?

— Не знаю, мне раньше не проходилось иметь с этим дело. Дома моя мама поговорила бы с ее матерью…

— Относительно группы крови?

— Не смейтесь, Томас. Я, вероятно, кажусь вам человеком старомодным. Поймите, я немножко растерялся…

— И я тоже. А вам не кажется, что нам лучше кончить этот разговор и решить дело жребием?

— Не надо притворяться таким черствым, Томас. Я знаю, вы ее по-своему любите не меньше моего.

— Ладно, валяйте дальше, Пайл.

— Скажите ей: я и не рассчитываю на то, что она меня сразу полюбит. Это придет потом. Но я ей предлагаю прочное и почетное положение в обществе. Романтики тут мало, но, пожалуй, это куда лучше страсти.

— За страстью дело не станет, — сказал я. — На худой конец пригодится и ваш шофер, когда вы будете в отлучке.

Пайл покраснел. Он неловко поднялся на ноги.

— Это гнусная шутка. Я не позволю, чтобы вы ее оскорбляли. Вы не имеете права…

— Она еще не ваша жена.

— А что можете предложить ей вы? — спросил он уже со злостью. — Сотни две долларов, когда вы соберетесь уезжать в Англию? Или же вы передадите ее своему преемнику вместе с мебелью?

— Мебель не моя.

— И она не ваша. Фуонг, вы выйдете за меня замуж?

— А как насчет группы крови? — спросил я. — И справки о здоровье? Вам ведь понадобится такая справка и от нее. Может, и от меня? А ее гороскоп вам не нужен?.. Хотя нет, это обычай не ваш, а других племен.

— Вы выйдете за меня замуж?

— Спросите ее сами по-французски, — сказал я. — Будь я проклят, если стану вам переводить.

Я отодвинул стул; собака зарычала. Это привело меня в бешенство.

— Скажите вашему проклятому псу, чтобы он помолчал. Это мой дом, а не его.

— Вы выйдете за меня замуж? — повторил он.

Я сделал шаг к Фуонг, и собака зарычала снова. Я попросил Фуонг:

— Скажи ему, чтобы он убирался вместе со своим псом.

— Пойдемте со мной, — молил Пайл. — Avec moi[31].

— Нет, — сказала Фуонг, — нет.

И вдруг вся злость у нас обоих пропала: вопрос оказался так прост — его можно было решить одним словом из трех букв. Я почувствовал огромное облегчение. Пайл стоял как вкопанный, слегка разинув рот. Он с удивлением произнес:

— Она сказала «нет»?..

— Настолько она умеет говорить по-английски. — Теперь мне уже хотелось смеяться: какого дурака валяли мы оба! — Садитесь и выпейте еще виски.

---

31 notes: 31
со мной (фр.)

— Мне лучше уйти.

— Последнюю, разгонную…

— Нехорошо, если я все у вас выпью, — пробормотал он себе под нос.

— Я могу достать сколько угодно виски через миссию, — сказал я, направляясь к столу, и пес оскалил зубы.

Пайл крикнул на него с яростью:

— Лежать, Герцог! Уймись… — Он отер пот со лба. — Мне от души жаль, Томас, если я сказал то, чего не следовало говорить. Не знаю, что на меня нашло. — Взяв стакан, он сказал жалобно: — Побеждает более достойный. Только прошу вас, Томас, не бросайте ее.

— Я и не думаю ее бросать.

— Может, он хочет выкурить трубку? — спросила меня Фуонг.

— Не хотите ли выкурить трубку, Пайл?

— Нет, спасибо. Я не притрагиваюсь к опиуму; у нас в миссии на этот счет очень строго. Допью и пойду домой. Меня огорчает Герцог. Всегда такой спокойный пес.

— Оставайтесь ужинать.

— Если вы не возражаете, мне лучше побыть одному. — Он как-то неуверенно улыбнулся. — Люди скажут, что мы ведем себя чудно. Ах, Томас,

как бы я хотел, чтобы вы могли на ней жениться!

— Вы шутите!

— Нисколько. С тех самых пор, как я побывал там, — помните, в доме рядом с «Шале», — мне стало так страшно…

Не глядя на Фуонг, он залпом выпил непривычное для него виски, а прощаясь, не дотронулся до ее руки и только мотнул головой, отвесив неуклюжий короткий поклон. Я заметил, как она проводила его взглядом, и, проходя мимо зеркала, увидел в нем себя: верхняя пуговица на брюках была расстегнута — признак того, что брюшко начало округляться. Выйдя за дверь, Пайл сказал:

— Обещаю, Томас, с ней не встречаться. Но вы не захотите, чтобы это вырыло между нами пропасть? Я добьюсь перевода отсюда, как только кончу свои дела.

— А когда это будет?

— Года через два.

Я вернулся в комнату, думая: «Чего я достиг? С тем же успехом я мог им сказать, что уезжаю». Ему придется покрасоваться своим истекающим кровью сердцем всего несколько недель… Моя ложь только облегчит его совесть.

— Приготовить трубку? — спросила Фуонг.

— Подожди минутку. Мне надо написать письмо.

В тот день я писал уже второе письмо, но на этот раз не порвал его, хотя так же мало надеялся на благоприятный ответ. Оно гласило:

«Дорогая Элен!

В апреле я вернусь в Англию, чтобы занять место редактора иностранного отдела. Как ты сама понимаешь, большой радости я не испытываю. Англия для меня — то место, где я стал неудачником. Я ведь так же, как и ты, хотел, чтобы наш брак длился как можно дольше, хотя и не разделял твоей веры в бога. По сей день не пойму, на чем мы потерпели крушение (ведь мы оба его не хотели), но подозреваю, что виной всему мой характер. Я знаю, как зло и жестоко я порой поступал. Теперь, кажется, я стал чуть-чуть получше — не добрее, но хотя бы спокойнее, — Восток мне в этом помог. А может, я просто стал на пять лет старше, да еще в ту пору, когда пять лет — это большой срок по сравнению с тем, что осталось прожить. Ты была ко мне очень великодушна и ни разу не попрекнула меня с тех пор, как мы расстались. Можешь ли ты проявить еще большее великодушие? Помню, перед тем как мы поженились, ты предупреждала, что развод для

тебя вещь немыслимая. Я пошел на этот риск, и мне как будто не на что жаловаться. И все же я прошу у тебя развода».

Фуонг окликнула меня с кровати, сказав, что трубка готова.

— Минуточку, — попросил я.

«Если бы я хотел лицемерить, — продолжал я, — то мог бы встать в благородную позу, изобразить, что все это мне нужно ради кого-то другого. Но это неправда, а мы привыкли говорить друг другу только правду. Я прошу ради себя, ради себя одного. Я люблю одну женщину, люблю очень сильно, мы прожили с ней больше двух лет. Она была мне предана, но может, я знаю, без меня обойтись. Если я с ней расстанусь, она некоторое время, вероятно, слегка погорюет, но трагедии для нее не будет. Она выйдет за кого-нибудь замуж, обзаведется семьей. Глупо, что я все это тебе пишу: сам подсказываю тебе ответ. Но именно потому, что я говорю правду, ты можешь поверить, что потерять ее — для меня смерти подобно. Я не прошу тебя „рассудить здраво“ (ведь здравый смысл и так есть только у тебя) или „быть милосердной“ (милосердие — непомерно большое слово для того, о чем я прошу, да и не так уж я заслуживаю милосердия). Наоборот, я прошу

у тебя безрассудства — поступка, несвойственного твоему характеру. Я хочу, чтобы ты (тут я задумался, какое бы выбрать слово, и так его и не нашел) чутко ко мне отнеслась и, не рассуждая, сделала бы то, о чем я прошу. Знаю, что тебе было бы легче дать опрометчивый ответ по телефону, чем посылать его на расстояние в тринадцать тысяч километров. Если бы ты протелеграфировала мне одно слово: „Согласна“!

Когда я кончил письмо, мне показалось, что я долго бежал и у меня с непривычки болят все мускулы. Пока Фуонг готовила трубку, я прилег на кровать. Я сказал:

— Он молод.

— Кто?

— Пайл.

— Разве это так важно?

— Я бы женился на тебе, Фуонг, если бы мог.

— Верю, но сестра почему-то сомневается.

— Я написал жене и попросил дать мне развод. Раньше я не делал такой попытки. А вдруг что-нибудь выйдет?

— Ты всерьез думаешь, что выйдет?

— Нет, но все может быть.

— Не волнуйся. Возьми трубку, покури.

Я затянулся, а она стала готовить вторую труб-

ку. Я спросил ее:

— Твоей сестры на самом деле не было дома?

— Я ведь тебе сказала, что не было.

Глупо делать ее жертвой правдоискательства, — этой страсти людей Запада, к которой они привержены не меньше, чем к алкоголю. Из-за виски, выпитого с Пайлом, опиум подействовал слабее обычного.

— Я солгал тебе, Фуонг, — сказал я. — Меня отзывают на родину.

Она положила трубку.

— Но ты не поедешь?

— Если я откажусь, на что мы будем жить?

— Я поеду с тобой. Мне хочется повидать Лондон.

— Ты будешь чувствовать себя там скверно, если мы не поженимся.

— Ну, а вдруг твоя жена даст тебе развод?

— Может быть.

— Я все равно поеду с тобой, — сказала Фуонг. Она верила в то, что говорит, но когда она снова взяла трубку и принялась разогревать шарик опиума, я увидел, как в ее глазах промелькнул целый хоровод мыслей.

— А в Лондоне есть небоскребы? — спросила она. Как я любил Фуонг за ее простодушие! Она

могла солгать из вежливости, со страха и даже ради выгоды, но у нее никогда не хватило бы коварства скрыть свою ложь.

— Нет, — сказал я, — чтобы увидеть небоскребы, тебе придется поехать в Америку.

Она бросила на меня быстрый взгляд, заметив свою ошибку. Разминая опиум, она стала беззаботно болтать: о том, какие платья станет носить в Лондоне, где мы там поселимся, какое там метро (она читала о нем в романах), о двухэтажных автобусах; полетим мы на самолете или поедем морем…

— А статуя Свободы… — начала было она.

— Нет, Фуонг, статуя Свободы тоже в Америке.

2

Не реже чем раз в год каодаисты устраивали празднество у Священного озера в Тайнине, в восьмидесяти километрах к северо-западу от Сайгона, чтобы отметить очередную годовщину Освобождения или Завоевания, а то и какой-нибудь буддийский, конфуцианский или христианский праздник. Каодаизм — изобретение местного чиновника, синтез трех религий и излюбленная тема моих рассказов новичкам. В Тайнине было Священное озеро, папа и женщины-кардиналы, механический оракул и святой Виктор Гюго. Христос и Будда глядели вниз с крыши собора на восточную фантасмагорию в стиле Уолта Диснея, на пестрые изображения драконов и змей. Новички всегда приходили в восторг от моих описаний. Но как показать им убогую изнанку всей этой затеи: наемную армию в двадцать пять тысяч человек, вооруженную минометами, сделанными из выхлопных труб негодных автомобилей, армию — союзницу французов, которая при малейшей опасности заявляла о своем нейтралитете. На празднества, которые устраивались, чтобы утихомирить крестьян,

папа приглашал членов правительства (они приезжали, если каодаисты в то время стояли у власти), дипломатический корпус (он присылал кое-кого из вторых секретарей с женами или любовницами) и французского главнокомандующего, которого представлял генерал с двумя звездочками из какой-нибудь канцелярии.

По дороге в Тайнинь несся стремительный поток штабных и дипломатических машин, а на самых опасных участках пути Иностранный легион выставлял в рисовых полях охрану. День этот всегда был тревожным для французского командования и внушал некоторые надежды каодаистам: что могло лучше всего подчеркнуть их лояльность, как не убийство нескольких именитых гостей за пределами их территории?

Через каждый километр над плоскими полями стояла, как восклицательный знак, глиняная сторожевая вышка, а через каждые десять километров — форт покрупнее, который охранялся взводом легионеров, марокканцев или сенегальцев. Как при въезде в Нью-Йорк, машины шли гуськом, не перегоняя друг друга, и, как при въезде в Нью-Йорк, вы со сдержанным раздражением посматривали на машину впереди, а в зеркало — на машину сзади. Каждому не терпелось до-

браться до Тайниня, поглазеть на процессию и как можно скорее вернуться домой: комендантский час наступал в семь вечера.

С рисовых полей, занятых французами, вы попадали на рисовые поля секты хоа-хао, а оттуда — на рисовые поля каодаистов, которые постоянно воевали с хоа-хао; но одни только флаги сменялись на сторожевых вышках. Голые малыши сидели на буйволах, бродивших по брюхо в воде на залитых полях; там, где созрел золотой урожай, крестьяне в шляпах, похожих на перевернутые блюдца, веяли зерно у небольших шалашей из плетеного бамбука. Машины проносились мимо, словно посланцы из другого мира.

В каждой деревушке внимание приезжих привлекали церкви каодаистов с огромным божьим оком над входом; их оштукатуренные стены были выкрашены в голубой или розовый цвет. Флагов становилось все больше; вдоль дороги кучками шли крестьяне; мы приближались к Священному озеру. Издали казалось, что на Тайнинь надет зеленый котелок: это возвышалась Святая гора, где окопался генерал Тхе — мятежный начальник штаба, объявивший недавно войну и французам, и Вьетмину. Каодаисты и не пытались его захватить, хотя он похитил их кардинальшу; впрочем,

по слухам, он это сделал не без ведома папы.

В Тайнине всегда казалось жарче, чем во всей Южной дельте; может быть, из-за отсутствия воды, а может, из-за нескончаемых церемоний, когда вы потели до одури и за себя и за других: потели за солдат, стоявших на карауле, пока произносились длинные речи на языке, которого они не понимали, потели за папу, облаченного в тяжелые одежды с китайскими украшениями. Только женщинам-кардиналам в белых шелковых штанах, болтавшим со священниками в пробковых шлемах, казалось, было прохладно в этом пекле; трудно было поверить, что когда-нибудь наступит семь часов — время коктейлей на крыше «Мажестик» — и с реки Сайгон подует ветерок.

После парада я взял интервью у представителя папы. Я не надеялся услышать от него что-нибудь интересное и не ошибся: обе стороны действовали по молчаливому уговору. Я спросил его о генерале Тхе.

— Горячий человек, — сказал он и перевел разговор на другую тему.

Он начал заученную речь, позабыв, что я ее слышал два года назад; мне это напоминало мои собственные тирады, которые я без конца

повторял новичкам: каодаизм как религиозный синтез… лучшая из всех религий… миссионеры посланы в Лос-Анджелес… тайны Большой пирамиды… Он носил длинную белую сутану и курил одну сигарету за другой. В нем было что-то скользкое и продажное; в его речи часто слышалось слово «любовь». Он, несомненно, знал, что все мы собрались сюда, чтобы посмеяться над их движением; наш почтительный вид был так же лжив, как и его фальшивый сан, но мы были не так коварны. Наше лицемерие не давало нам ничего, даже надежного союзника, а их лицемерие добывало им оружие, снаряжение и даже деньги.

— Спасибо, ваше преосвященство. — Я поднялся, чтобы уйти. Он проводил меня до двери, роняя пепел от сигареты.

— Да благословит бог ваши труды, — произнес он елейно. — Запомните: господь любит истину.

— Какую истину? — спросил я.

— Каодаистская вера учит, что есть только одна истина и что истина эта — любовь.

У него был большой перстень на пальце, и когда он протянул мне руку, он, право, кажется, ожидал, что я ее поцелую; но я — не дипломат.

Под томительными отвесными лучами солн-

ца я увидел Пайла: он тщетно пытался завести свой бьюик. Почему-то за последние две недели я повсюду — и в баре «Континенталь», и в единственной порядочной книжной лавке, и на улице Катина — наталкивался на Пайла. Он все больше подчеркивал свою дружбу, которую навязал мне с самого начала. Его грустные глаза безмолвно вопрошали меня о Фуонг, в то время как уста со все возрастающим пылом выражали восхищение и привязанность к моей персоне.

Возле машины стоял каодаистский командир и что-то торопливо рассказывал Пайлу. Когда я подошел, он умолк. Я его узнал: он был помощником Тхе, прежде чем тот ушел в горы.

— Привет, начальник, — сказал я. — Как поживает генерал?

— Какой генерал? — спросил командир со смущенной улыбкой.

— А разве каодаистская вера не учит, что есть только один генерал?

— Не могу завести машину, Томас, — вмешался Пайл.

— Я схожу за механиком, — сказал командир и оставил нас.

— Я помешал вашей беседе, — извинился я.

— Пустяки, — отозвался Пайл. — Он спраши-

вал, сколько стоит бьюик. Очень славные люди, если знать, как к ним подойти. Видно, французы просто не умеют с ними ладить.

— Французы им не доверяют.

— Если доверять человеку, он постарается оправдать ваше доверие, — торжественно изрек Пайл. Его слова прозвучали, как каодаистский символ веры. Я почувствовал, что атмосфера Тайниня была слишком высоконравственной, чтобы я мог в ней дышать.

— Выпьем, — предложил Пайл.

— Об этом я просто мечтаю.

— У меня с собой термос с лимонным соком.

Он наклонился к багажнику и вытащил оттуда корзину.

— А джина у вас не найдется?

— К сожалению, нет. Знаете, — добавил он, желая меня приободрить, — лимонный сок очень полезен в таком климате. В нем есть витамины… не помню только, какие.

Он протянул мне стаканчик, и я выпил.

— Мокрое, и то хорошо, — сказал я.

— Хотите бутерброд? Ужасно вкусные бутерброды. Новая патентованная начинка, называется «Витамино-здоровье». Мама мне прислала ее из Штатов.

— Спасибо, я не голоден.

— На вкус похоже на винегрет, только как будто острее.

— Мне что-то не хочется.

— Вы не возражаете, если я поем?

— Конечно, не возражаю.

Он откусил огромный кусок; послышался хруст. Невдалеке от нас Будда из белого и розового камня уезжал верхом из отчего дома, а его слуга — другое изваяние — бежал за ним следом. Женщины-кардиналы брели обратно в свою обитель, а божье око взирало на нас с соборной двери.

— Вы знаете, здесь ведь кормят обедом, — сказал я.

— Я решил, что лучше не рисковать. Мясо… с ним надо быть поосторожнее в такую жару.

— Вам нечего опасаться. Они вегетарианцы.

— Может быть, и так, но я предпочитаю знать, что я ем. — Он снова набил рот своим «Витамино-здоровьем». — Как вы думаете, у них есть приличные механики?

— Достаточно приличные, чтобы превратить вашу выхлопную трубу в миномет. Кажется, самые лучшие минометы получаются именно из бьюиков.

Командир вернулся; щегольски отдав честь, он

сообщил нам, что послал в казарму за механиком. Пайл предложил ему бутерброд с «Витамино-здоровьем», но тот вежливо отказался, объяснив светским тоном:

— Тут у нас уйма правил относительно еды. — Он отлично говорил по-английски. — Ужасная глупость! Но вы же знаете, что такое религиозный центр. Вряд ли дело обстоит лучше в Риме… или в Кентербери, — добавил он с кокетливым поклоном в мою сторону. Потом он замолчал. Они оба молчали. Я был здесь лишний. Но я не мог не воспользоваться оружием слабости и не поддразнить Пайла — ведь я был слаб. У меня не было его молодости, основательности, цельности, будущего.

— Пожалуй, я все-таки съем бутербродик, — сказал я.

— О, прошу вас, — произнес Пайл, — прошу вас.

Он немного помешкал, прежде чем снова полезть в багажник.

— Нет, нет, — рассмеялся я. — Я пошутил. Вы ведь хотите остаться вдвоем.

— Ничего подобного, — возмутился Пайл.

Он был одним из самых неумелых лгунов, каких я знал. В этом искусстве у него, очевидно, не

было опыта. Он объяснил командиру:

— Томас — мой самый лучший друг.

— Я знаю мистера Фаулера, — ответил командир.

— Мы еще увидимся перед отъездом, Пайл. — И я пошел в собор. Там можно было найти прохладу.

Святой Виктор Гюго в мундире Французской академии с нимбом вокруг треуголки указывал перстом на какую-то сентенцию, которую записывал на дощечке гипсовый Сунь Ятсен. В церкви не на что было сесть, разве что в папское кресло, вокруг которого обвилась гипсовая кобра; мраморный пол сверкал, как водная гладь, а в окнах не было стекол, — я подумал о том, как глупо строить клетки с отдушинами для воздуха, а почти такие же клетки строим мы для религии — с отдушинами для сомнений, для разных верований, для бесчисленных толкований. Моя жена нашла себе такую дырявую клетку, и порой я ей завидовал. Но солнце и воздух плохо уживаются друг с другом; и я предпочитал жить на солнце.

Я прошелся по длинной пустой церкви, — это был не тот Индокитай, который я любил. По алтарю карабкались драконы с львиными головами; с плафона Христос показывал свое истекающее

кровью сердце. Будда сидел, как Будда сидит всегда, и подол у него был пуст; реденькая бородка Конфуция струилась, как водопад в засуху. Все это было бутафорией: огромный земной шар над алтарем говорил о честолюбии; механический оракул, при помощи которого папа совершал свои пророчества, говорил о жульничестве. Если бы этот собор просуществовал пять столетий, а не двадцать лет, истертые шагами плиты и изъеденные непогодой камни, возможно, и придали бы ему какую-то убедительность. Обретет ли здесь веру тот, кто столь же легко поддается убеждению, как моя жена, которая так и не сумела обрести веру в человека? И если бы я действительно хотел верить, нашел ли бы я эту веру в ее норманской церкви? Но я никогда не жаждал веры. Дело репортера — разоблачать и вести запись фактов. Никогда за всю мою профессиональную жизнь мне не попадалось необъяснимое. Папа фабриковал свои пророчества при помощи незамысловатого механизма, и люди ему верили. В каждом откровении всегда можно обнаружить надувательство. В репертуаре моей памяти не было ни откровений, ни чудес.

Я стал перебирать свои воспоминания, как перелистывают картинки в альбоме: лису, которую

я увидел при свете неприятельской ракеты, сброшенной над Орпингтоном, — она пробиралась вдоль изгороди птичника, неизвестно как попав сюда из своего ржавого логова на пограничных землях; тело заколотого штыком малайца, которого отряд гурков привез в кузове грузовика в горняцкий поселок в Паханге; китайские кули стояли рядом, истерически хихикая, а в это время другой малаец подкладывал под мертвую голову подушку; голубя, который вот-вот взлетит с камина в номере гостиницы; лицо жены в окне, когда я пришел, чтобы проститься в последний раз. Мысли мои оттолкнулись от нее и снова вернулись к ней. Она, должно быть, получила мое письмо больше недели назад, а телеграммы, которой я и не ждал, все не было. Но говорят, что, когда присяжные долго совещаются, для подсудимого есть надежда. Если ответа не будет еще неделю, смогу ли я надеяться? Со всех сторон было слышно, как заводят моторы военных и дипломатических машин: с торжествами было покончено еще на год. Начиналось бегство в Сайгон, приближался комендантский час. Я вышел, чтобы отыскать Пайла.

Они стояли с командиром в узкой полоске тени; никто и не пытался чинить его машину. О чем бы

ни шла их беседа, но она уже кончилась, и они стояли молча, не решаясь разойтись из вежливости. Я подошел к ним.

— Ну, я, пожалуй, поеду, — заявил я. — Вам тоже лучше отправиться в путь, если хотите попасть домой до комендантского часа.

— Механик так и не пришел.

— Он скоро придет, — сказал командир. — Он был занят в процессии.

— Вы могли бы здесь заночевать, — заметил я. — Будут служить праздничную обедню, вам это будет интересно. Она длится три часа.

— Я должен вернуться домой.

— Вы не вернетесь, если не поедете сейчас же. — Я нехотя добавил: — Если угодно, я вас подвезу, а начальник пришлет вашу машину в Сайгон.

— Вам нечего беспокоиться о комендантском часе на территории каодаистов, — самодовольно произнес командир. — Конечно, там дальше… Но я завтра же пришлю вам машину.

— Смотрите, чтобы не пропала выхлопная труба, — добавил я, и на лице его показалась бодрая, подтянутая, вышколенная, чисто военная улыбочка.

Когда мы тронулись в путь, колонна автомо-

билей значительно нас опередила. Я прибавил скорость, пытаясь ее нагнать, но мы проехали каодаистскую зону и вступили в зону хоа-хао, а впереди не было видно ни облачка пыли. Мир казался плоским и пустым в этот вечерний час.

Местность как будто была и не подходящая для засады, но при желании легко было укрыться по самую шею в затопленных полях, тянувшихся вдоль дороги.

Пайл откашлялся — это было симптомом того, что он снова готов к излияниям.

— Надеюсь, Фуонг здорова, — сказал он.

— По-моему, она никогда не болеет.

Одна из сторожевых вышек прижалась у нас за спиной к горизонту, другая выросла впереди, — совсем как чаши весов.

— Я встретил вчера ее сестру, она шла за покупками.

— И, наверно, пригласила вас зайти.

— Вы угадали.

— Она не так-то легко отказывается от своих надежд.

— Каких надежд?

— Женить вас на Фуонг.

— Она сказала, что вы уезжаете.

— Ходят такие слухи.

— Вы ведь не станете меня обманывать, Томас, правда?

— Обманывать?

— Я попросил о переводе, — сказал он. — И не хотел бы, чтобы она лишилась сразу нас обоих.

— Я думал, вы отслужите здесь свой срок.

Он сказал без всякой жалости к себе:

— Выяснилось, что мне это не под силу.

— Когда вы уезжаете?

— Не знаю. Начальство полагает, что это можно будет устроить месяцев через шесть.

— А полгода вы выдержите?

— Придется.

— Какую вы указали причину?

— Я сказал нашему атташе — вы его знаете — Джо… почти всю правду.

— Наверно, он считает меня сукиным сыном за то, что я не дал вам увести мою девушку.

— Напротив, он скорее на вашей стороне.

Машина чихала и тянула из последних сил, — кажется, она стала чихать на минуту раньше, чем я это заметил, — я размышлял над невинным вопросом Пайла: «Вы ведь не станете меня обманывать?» Вопрос этот принадлежал к миру первозданной человеческой психики, где слова Демократия и Честь произносят с большой буквы,

как писали в старину на надгробных плитах, и где каждое слово имеет для вас то же значение, какое оно имело для вашего деда.

— Готово, приехали, — сказал я.

— Нет горючего?

— Его было вдоволь. Я залил полный бак, прежде чем выехать. Эти негодяи в Тайнине его выщедили. Надо было проверить. На них это похоже — оставить нам ровно столько бензина, чтобы мы смогли выехать за пределы их зоны.

— Что же теперь делать?

— Мы кое-как доберемся до следующей вышки. Будем надеяться, что нас там выручат.

Но нам не повезло. Машина не дотянула до вышки метров тридцать и стала. Мы подошли к подножию вышки, и я крикнул часовым по-французски, что мы — друзья и поднимемся наверх. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня застрелил вьетминский часовой. Ответа не последовало; никто даже не выглянул. Я спросил Пайла:

— У вас есть револьвер?

— Никогда не ношу.

— И я тоже.

Последние краски заката — зеленые и золотистые, как стебли риса, — стекали через край плоской земли; на сером однотонном небе резко

чернела сторожевая вышка. Комендантский час почти настал. Я крикнул снова, и снова никто не ответил.

— Вы не помните, сколько вышек мы проехали от последнего форта?

— Не обратил внимания.

— И я тоже. — До следующего форта было не меньше шести километров — час ходьбы. Я крикнул в третий раз, и тишина снова была единственным ответом.

— Похоже на то, что там пусто, — заметил я. — Пожалуй, я влезу наверх и погляжу.

Желтый флаг с красными полосами, выгоревшими и ставшими оранжевыми, означал, что мы выехали с территории хоа-хао и находились на правительственной территории. Пайл спросил:

— Вам не кажется, что, если обождать, может подойти машина?

— Возможно; но они могут подойти первыми.

— А что, если вернуться и зажечь фары? Дать сигнал.

— Ради бога, не надо.

Было уже так темно, что я споткнулся, отыскивая лестницу. Что-то хрустнуло у меня под ногой; казалось, звук понесся по рисовым полям, — кто его слышит? Пайл потерял очертания и превра-

тился в неясное пятно на краю дороги.

Тьма в этих краях не спускается, а падает камнем.

— Постойте там, пока я вас не позову, — сказал я.

Уж не втянута ли лестница наверх? Нет, она стоит на месте — по ней может подняться и враг, но для часовых это — единственный путь к спасению. Я стал взбираться.

Как часто я читал, о чем думают люди в минуту страха: о боге, о семье, о женщине. Я преклоняюсь перед их самообладанием. Я не думал ни о чем, даже о люке над головой; в эти секунды я перестал существовать; я сам стал воплощением страха. На верхушке лестницы я стукнулся головой — страх не слышит, не видит и не считает ступенек. Потом голова моя поднялась над земляным полом, — никто в меня не выстрелил, и страх прошел.

На полу стоял маленький керосиновый фонарь; двое людей, прислонившись к стене, сидя, наблюдали за мной. Один из них держал автомат, другой — винтовку, но оба они были перепуганы не меньше моего. С виду они были похожи на школьников, но молодость вьетнамцев уходит так же внезапно, как солнце: вот они мальчики,

и сразу же — старики. Я был рад, что цвет кожи и разрез глаз служат мне паспортом, — сейчас бы солдаты не выстрелили даже со страха.

Я вылез из люка и заговорил, чтобы их успокоить, объясняя, что моя машина стоит внизу: у меня вышло горючее. Может, они продадут мне немножко, если оно у них есть... Оглядевшись, я понял, что это маловероятно. В круглой комнате не было ничего, кроме ящика с патронами для автомата, деревянной кроватки и двух висевших на гвозде ранцев. Два котелка с остатками риса и палочками для еды говорили о том, что ели они без аппетита.

— Хоть немного бензина, чтобы мы могли добраться до следующего форта, — просил я.

Один из сидевших у стены солдат — тот, что был с винтовкой, — покачал головой.

— Не то нам придется провести здесь ночь.

— C'est defendu[32].

— Кем?

— Вы штатский.

— Никто не заставит меня сидеть на дороге и ждать, пока мне перережут глотку.

— Вы француз?

---

32 notes: 32
это запрещается (фр.)

Говорил только один из них. Другой сидел отвернувшись, глядя в амбразуру. Ему не было видно ничего, кроме клочка неба величиной с открытку; казалось, он что-то слушает, и я стал слушать тоже. Тишина была полна звуков; шумы эти трудно было определить — легкий треск, скрип, шорох, что-то вроде покашливания, шепот. Потом я услышал Пайла; вероятно, он подошел к подножию лестницы.

— Все в порядке, Томас?

— Поднимитесь, — крикнул я в ответ. Пайл стал подниматься по лестнице, и молчавший солдат шевельнул автоматом; не думаю, чтобы он понял хоть слово из того, что мы говорили, — движение было непроизвольным. Парень был, видимо, парализован страхом. Я прикрикнул на него тоном сержанта: «Клади автомат!» — и произнес французское ругательство, которое, надеялся, он поймет.

Он послушался, не раздумывая. Пайл поднялся на вышку.

— Нас пригласили провести ночь в этой крепости, — сообщил я.

— Отлично, — сказал Пайл. В голосе его звучало недоумение. — Разве одному из этих болванов не следовало бы стоять на часах?

— Они не любят, чтобы в них стреляли. Жаль, что вы не захватили с собой чего-нибудь покрепче лимонного сока.

— В следующий раз захвачу непременно.

— Впереди у нас долгая ночь. — Теперь, когда Пайл был со мной, я больше не слышал никакого шума. Даже оба солдата как будто успокоились.

— Что будет, если на них нападут вьетминцы? — спросил Пайл.

— Они выстрелят разок и удерут. Вы читаете об этом каждое утро в «Экстрем ориан». «Прошлой ночью один из постов к юго-западу от Сайгона был временно захвачен вьетминцами».

— Неважная перспектива.

— Между нами и Сайгоном сорок таких вышек. Всегда можно рассчитывать, что попадет не тебе, а соседу.

— Нам очень пригодились бы мои бутерброды, — произнес Пайл. — А все-таки одному из этих парней следовало бы стоять на карауле.

— Он боится, что его подкараулит пуля. — Теперь, когда мы тоже устроились на полу, вьетнамцы перестали так нервничать. Им можно было посочувствовать: не легко двум плохо обученным солдатам сидеть ночь за ночью, гадая о том, когда с поля к вышке подкрадутся вьетмин-

цы. Я спросил Пайла:

— Вы думаете, они знают, что сражаются за Демократию? Жаль, здесь нет Йорка Гардинга: он бы им объяснил.

— Вечно вы издеваетесь над Йорком, — сказал Пайл.

— Я издеваюсь над всеми, кто тратит золотое время, расписывая то, чего нет, — абстрактные фетиши.

— Для него они не абстракция. А разве вы ни во что не верите? В бога, например.

— У меня нет оснований верить в бога. А у вас?

— Есть. Я принадлежу к унитарной церкви.

— Скольким сотням миллионов богов поклоняются люди? Ведь даже набожный католик верит в совершенно разных богов, когда он напуган, когда счастлив или когда голоден.

— Может, если бог есть, он так велик, что каждый видит его по-своему.

— Как большого Будду в Бангкоке, — сказал я. — Его не увидишь всего целиком. Но он хотя бы никуда не лезет.

— Вы просто хотите казаться бесчувственным. Верите же вы во что-нибудь? Никто не может жить без веры.

— Конечно, я ведь не берклианец[33]. Я верю, что опираюсь об стену. Верю, что там лежит автомат.

— Я говорю не об этом.

— Я даже верю в то, что пишу, а это куда больше того, что может сказать большинство ваших корреспондентов.

— Хотите сигарету?

— Я не курю ничего… кроме опиума. Угостите часовых. Нам лучше с ними ладить. — Пайл встал, дал им закурить и вернулся. Я сказал: — Хотел бы я, чтобы эти сигареты имели символическое значение, как хлеб-соль.

— Вы им не доверяете?

— Ни один французский офицер не рискнул бы провести ночь в такой вышке наедине с двумя перепуганными насмерть часовыми. Были случаи, когда целые взводы выдавали своих офицеров. Иногда вьетминцам больше помогает рупор, чем противотанковое ружье. Я не виню этих солдат. Они ведь тоже ни во что не верят. Вы и ваши единомышленники пытаетесь вести войну руками людей, которых она вовсе не увлекает.

---

33 notes: 33

Беркли Джордж (1684-1753) — английский философ-идеалист; утверждал, что окружающие предметы не существуют объективно, независимо от человека; реальны только ощущения

— Они не хотят коммунизма.

— Они хотят досыта риса, — возразил я. — Они не хотят, чтобы в них стреляли. Они хотят, чтобы жизнь текла спокойно. Они не хотят, чтобы ими помыкали люди с белой кожей.

— Если мы потеряем Индокитай…

— Слышал эту пластинку. Тогда мы потеряем Сиам, Малайю, Индонезию… А что значит «потеряем»? Если бы я верил в вашего бога и в рай, я поставил бы свою райскую цитру против вашего золотого нимба, что через пятьсот лет на свете не будет ни Нью-Йорка, ни Лондона, а они по-прежнему будут выращивать рис на этих полях, и в своих остроконечных шляпах носить продукты на рынок, подвесив корзины на длинные жерди. А мальчуганы все так же будут ездить верхом на буйволах. Я люблю буйволов, они не терпят нашего запаха, запаха европейцев. И запомните: с точки зрения буйвола, вы — тоже европеец.

— Их заставят верить в то, что им говорят, им не позволят думать, как им хочется.

— Думать — это роскошь. Уж не воображаете ли вы, что, возвращаясь ночью в свою глиняную хижину, крестьянин размышляет о Боге и Демократии?

— Разве в стране нет никого, кроме крестьян?

А образованные люди? По-вашему, они будут счастливы?

— Нет, — сказал я. — Мы ведь привили им наши идеи. Мы обучили их опасной игре, вот почему мы и торчим здесь в надежде, что нам не перережут глотки. Мы заслужили, чтобы нам их перерезали. Хотелось бы мне, чтобы и ваш друг Йорк тоже был здесь. Интересно, как бы ему это понравилось.

— Йорк Гардинг очень храбрый человек. Знаете, в Корее…

— Он ведь там не служил в армии. У него был обратный билет. С обратным билетом в кармане храбрость становится душевной гимнастикой, вроде монашеского самобичевания: «Сколько я выдержу?» А вот эти бедняги не могут удрать на самолете домой. Эй, — обратился я к ним, — как вас зовут? — Мне казалось, что, узнав их имена, мы как-нибудь втянем их в беседу. Ответа не последовало; они лишь угрюмо поглядывали на нас и сосали свои окурки. — Наверно, думают, что мы французы, — сказал я.

— В том-то все дело, — подхватил Пайл. — Ваш противник не Йорк, а французы. Их колониализм.

— Ах, уж эти мне ваши «измы» и «кратии».

Дайте мне факты. Если хозяин каучуковой плантации бьет своего батрака, — ладно, я против него. Но он бьет его вовсе не по инструкции министра колоний. Во Франции он, верно, бил бы свою жену. Я помню одного священника — такого нищего, — у него не было даже лишней пары штанов, — в холерную эпидемию он по пятнадцати часов в день обходил одну хижину за другой, питаясь рисом и соленой рыбой, а причащал из старой чашки и деревянной тарелки. Я не верю в бога, но я за такого священника. Может, и это, по-вашему, колониализм?

— Да, конечно, колониализм! Йорк говорит, что часто хорошие администраторы больше всего мешают уничтожить плохую систему.

— Как бы там ни было, французы гибнут каждый день… и это отнюдь не абстракция. Они не втягивают в войну здешних людей умелой ложью, как ваши политиканы… или наши. Я был в Индии, Пайл, и я знаю, какой вред могут принести либералы. У нас больше нет партии либералов, зато либерализм заразил все другие партии. Все мы либо либеральные консерваторы, либо либеральные социалисты; у всех у нас чистая совесть. Лучше уж быть эксплуататором, который открыто дерется за то, чтобы эксплуатировать, и

умирает за это. Посмотрите на историю Бирмы. Мы вторглись в эту страну — нашлись племена, которые нас поддержали; мы победили, но, как и вы, американцы, мы в те дни не признавали себя колониалистами. Наоборот, мы заключили мир с королем, вернули ему его край и предоставили распинать и распиливать на части наших союзников. Они были простаками. Они думали, что мы не уйдем. Но мы, либералы, боялись нечистой совести.

— Это было давно.

— Здесь будет не лучше. Их подстрекают, а потом бросят, оставив им немного военного снаряжения и производство игрушек.

— Игрушек?

— Из вашей пластмассы.

— Ах да, понятно.

— Не знаю, почему я заговорил о политике. Она меня не интересует; я ведь репортер. Я ни во что не вмешиваюсь.

— Разве? — заметил Пайл.

— Я спорю, чтобы скоротать эту проклятую ночь, вот и все. Я не хочу становиться на чью-нибудь сторону. Кто бы ни победил, я буду только свидетелем, репортером.

— Если победят они, вам придется писать

неправду.

— Всегда есть обходной путь, да я, впрочем, не заметил, чтобы наши газеты так уж почитали истину.

Наша мирная болтовня, по-видимому, подбодрила солдат; белые голоса — а ведь и голоса тоже имеют свой цвет: желтые голоса поют, черные издают гортанный звук, словно полощут горло, а белые просто говорят — создадут впечатление, будто нас много, и отпугнут противника. Часовые снова взялись за свои котелки, отдирая палочками еду и поглядывая на нас с Пайлом.

— Значит, вы думаете, что мы проиграли?

— Не в этом суть, — сказал я. — Но мне не очень-то хочется, чтобы вы выиграли. Я бы предпочел, чтобы вот эти бедняги были счастливы… вот и все. Я бы хотел, чтобы им не нужно было сидеть по ночам в темноте, перепуганным насмерть.

— Надо же сражаться за свободу.

— Я что-то не замечал, чтобы здесь сражались американцы. А свобода — право, не знаю, что это такое. Спросим у них. — Я окликнул солдат по-французски: — La liberte — qu'est ce que c'est la liberte?[34] Они слизывали с палочек рис и молча

---

34 notes: 34
Свобода — что такое свобода? (фр.)

на нас глядели.

— Неужели вы хотите, чтобы все люди были на один лад? — спросил Пайл. — Вам просто нравится спорить. Вы интеллигент. Вам так же дорога свобода человеческой личности, как и мне… или Йорку.

— А почему мы стали заботиться о ней только теперь? Сорок лет назад никто о ней и не заикался.

— Тогда ей ничего не угрожало.

— Нашей личности ничего не угрожало — еще бы! — но разве кто-нибудь думал о личности того, кто выращивает рис, и думает о нем сейчас? Единственный, кто обращается с ним как с человеком, это политический комиссар: посидит в его хижине, спросит имя, выслушает жалобы; ежедневно тратит на него целый час, чтобы чему-нибудь научить — неважно чему; но обходится с ним как с человеком, с существом, которое представляет ценность. Не суйтесь вы на Восток с вашим кудахтаньем об угрозе человеческой личности. Тут сразу обнаружится, что вы — неправая сторона: это они стоят за человеческую личность, а мы за рядового номер 23987, единицу в глобальной стратегии.

— Вы не верите и половине того, что говори-

те, — смущенно возразил Пайл.

— Верю на три четверти. Я здесь давно. К счастью, я ни во что не вмешиваюсь, а не то у меня явилось бы искушение кое-что предпринять… потому что здесь, на Востоке, мне, знаете ли, не нравится ваш Айк. Мне нравятся, если на то пошло, вот эти двое. Это их страна… Который час? Мои часы остановились.

— Половина девятого.

— Еще каких-нибудь десять часов, и мы сможем двинуться в путь.

— Становится довольно прохладно, — ежась, сказал Пайл. — Вот не ожидал.

— Кругом вода. В машине у меня одеяло. Как-нибудь обойдемся.

— А идти за ним не опасно?

— Для вьетминцев еще рановато.

— Давайте, я схожу.

— Я больше привык к темноте.

Я поднялся, и оба солдата перестали есть. Я им сказал:

— Je reviens tout de suite[35], — спустил ноги в люк, нащупал лестницу и стал спускаться. До чего же успокаивают разговоры, в особенности

---

35 notes: 35
я сейчас вернусь (фр.)

на отвлеченные темы: она делают обыденной самую необычайную обстановку. Я больше не чувствовал страха: у меня было такое ощущение, будто я вышел из комнаты и должен туда вернуться, чтобы продолжать спор; словно мы были на улице Катина, в баре «Мажестик» или даже где-то поблизости от Гордон-сквера.

Я постоял внизу, чтобы глаза мои привыкли к темноте. Светили звезды, но луны не было. Лунный свет напоминает мне мертвецкую и холодное сияние лампочки без абажура над мраморной скамьей; свет звезд полон жизни и движения, словно кто-то в необъятном просторе передает нам послание доброй воли; ведь даже в именах звезд есть что-то дружественное. Венера — это женщина, которую мы любим. Медведицы — мишки нашего детства, а, наверно, для тех, кто верит, как моя жена, Южный Крест — это любимый псалом или вечерняя молитва. Я немного поежился, как Пайл. Однако ночь была теплая, только неглубокая вода по обе стороны дороги придавала теплу какой-то леденящий оттенок. Я пошел к машине, и мне вдруг почудилось, что ее нет. Мне стало не по себе, хотя я и вспомнил, что машина застряла в тридцати метрах отсюда. Я шел сгорбившись: мае казалось, что так я менее

приметен.

Чтобы достать одеяло, мне пришлось отпереть багажник; щелканье замка и скрип крышки заставили меня вздрогнуть. Я один производил шум в ночи, которая, казалось, была полна людей, и это меня отнюдь не радовало. Перекинув одеяло через плечо, я опустил крышку багажника осторожнее, чем ее поднимал, и как раз в тот миг, когда щелкнул замок, небо в сторону к Сайгону озарилось вспышкой огня и по дороге понесся грохот взрыва. Застрекотал автомат, застрекотал и умолк, прежде чем прекратился грохот. Я подумал: «Кому-то досталось» — и очень издалека услышал голоса, кричавшие от боли или ужаса, а может быть, и от упоения победой. Я почему-то был уверен, что на нас нападут сзади, оттуда, откуда мы приехали, и вдруг мне показалось несправедливым, что вьетминцы впереди, между нами и Сайгоном. Мы, словно ничего не ведая, приближались к опасности, вместо того чтобы от нее отдалиться, да и сейчас я шел туда, где таилась опасность, к вышке. Я шел, потому что бежать было куда слышнее, но тело мое порывалось бежать.

У подножия лестницы я крикнул Пайлу: «Это я, Фаулер» (даже тут я не мог назвать ему себя

по имени). Обстановка наверху переменилась. Котелки с рисом снова стояли на полу; один из солдат, прижавшись к стене, не спускал глаз с Пайла, держа у ноги винтовку, а тот чуть отполз от противоположной стены и, стоя на коленях, не сводил глаз с автомата, лежавшего между ним и вторым часовым. Похоже было на то, что он стал подползать к оружию, но его остановили на полдороге. Рука второго часового была протянута к автомату. Ни драки, ни угроз: все было как в той детской игре, где участники должны двигаться незаметно, не то вас возвращают в исходное положение и заставляют играть сначала.

— Что тут происходит? — спросил я.

Часовые посмотрели на меня, а Пайл, кинувшись вперед, притянул автомат к себе.

— Что это за игра? — спросил я.

— Я ему не доверяю, — ответил Пайл. — Нельзя, чтобы у него было оружие, если на нас нападут.

— А вы умеете обращаться с автоматом?

— Нет.

— Вот и хорошо. Я тоже. Надеюсь, он заряжен, — ведь нам его не зарядить.

Часовые безмолвно примирились с потерей автомата. Один из них положил винтовку на колени; другой прижался к стене и закрыл глаза,

веря, как в детстве, что от этого станет невидимым. Может, он был рад, что избавился от всякой ответственности. Где-то вдалеке снова застучал автомат — три очереди, а потом тишина. Второй часовой крепче зажмурил глаза.

— Они не знают, что мы не умеем им пользоваться, — сказал Пайл.

— Предполагается, что они на нашей стороне.

— Какой это «нашей»? Вы говорили, что не желаете стоять на чьей-либо стороне.

— Touche[36], — усмехнулся я. — Жаль, что об этом не знают вьетминцы.

— А что происходит внизу?

Я снова процитировал завтрашний номер «Экстрем ориан»: «Прошлой ночью в пятидесяти километрах от Сайгона вьетминские партизаны атаковали и временно захватили один из наших постов».

— Вам не кажется, что в поле было бы безопаснее?

— Там слишком сыро.

— Вы так спокойны, — удивился Пайл.

— Я до смерти напуган… но дела обстоят лучше, чем можно было ожидать. В одну ночь они обыч-

---

36 notes: 36
задет (фр.) — фехтовальный термин

но не нападают больше, чем на три поста. Наши шансы повысились.

— Что это такое?

Послышался шум тяжелой машины, идущей в сторону Сайгона. Я подошел к амбразуре и выглянул как раз в тот миг, когда мимо проходил танк.

— Патруль, — сказал я. Башенное орудие поворачивалось то в одну, то в другую сторону. Мне хотелось окликнуть солдат, но какой в этом был толк? У них в машине не было места для двух никчемных штатских. Земляной пол дрожал, пока танк проходил мимо, потом все стихло. Напрягая зрение, я поглядел на часы — восемь пятьдесят одна; мне хотелось засечь время, когда покажется вспышка. Слушая, скоро ли загрохочет гром, определяют, как далеко ударила молния. Прошло около четырех минут, прежде чем пушка открыла огонь. Мне послышался ответный выстрел из базуки[37], затем настала тишина.

— Когда они вернутся, — сказал Пайл, — мы попросим подбросить нас в лагерь.

Пол у нас под ногами задрожал от взрыва.

— Если они вернутся, — уточнил я. — Похоже на то, что это была мина.

---

37 notes: 37
реактивное противотанковое ружье

Когда я снова взглянул на часы, они показывали девять пятнадцать, а танк все не возвращался. Стрельбы больше не было слышно.

Я сел рядом с Пайлом и вытянул ноги.

— Давайте соснем, — предложил я. — Все равно делать больше нечего.

— Меня беспокоят часовые, — сказал Пайл.

— Пока нет вьетминцев, можете не беспокоиться. Для верности положите автомат себе под ногу. — Я закрыл глаза и постарался себе представить, что сижу где-нибудь в другом месте… ну хотя бы в купе четвертого класса: их было много на германских железных дорогах до прихода Гитлера, в дни, когда я был молод и мог, не печалясь, просидеть хоть целую ночь и когда душа моя была полна надежд, а не страха. В этот час Фуонг готовила мне вечерние трубки. Ждет ли меня письмо?.. Я надеялся, что не ждет, — ведь я знал, что там будет написано, а пока его нет, можно помечтать о несбыточном.

— Вы спите? — спросил Пайл.

— Нет.

— Не втащить ли нам лестницу наверх?

— Я понимаю, почему они этого не делают. Лестница — единственный путь на волю.

— Хоть бы вернулся танк.

— Теперь уж он не вернется.

Я старался смотреть на часы как можно реже, но промежутки всегда оказывались куда короче, чем я предполагал. Девять сорок, десять пять, десять двенадцать, десять тридцать две, десять сорок одна.

— Не спите? — спросил я у Пайла.

— Нет.

— О чем вы думаете?

Пайл помедлил.

— О Фуонг, — сказал он.

— Что именно?

— Просто думаю о том, что она сейчас делает.

— Могу вам сказать. Она решила, что я остался на ночь в Тайнине — со мной это случалось. Сейчас она лежит в постели, зажгла ароматную палочку, чтобы отогнать москитов, и рассматривает картинки в старом номере «Пари-матч». Как и у всех француженок, у нее слабость к английской королевской семье.

Он сказал с грустью:

— Хорошо знать о ней все наверняка. — Я представил себе, как его по-собачьи ласковые глаза вглядываются в темноту. Его бы окрестить Фиделькой, а не Олденом.

— Да и я, собственно, не могу ни за что пору-

читься, но надеюсь, что это так. Что ж ревновать, делу все равно не поможешь. «От вора нет запора».

— Я вас просто ненавижу, Томас, когда вы так говорите. Знаете, какой я вижу Фуонг? Чистой, как цветок.

— Бедный цветок, — сказал я. — Кругом так много сорняков.

— Где вы с ней познакомились?

— Она танцевала с посетителями «Гран монд».

— Танцевала за деньги! — воскликнул он, словно самая мысль об этом причиняла ему страдания.

— Вполне почтенная профессия, — заявил я. — Не огорчайтесь.

— Вы такой бывалый человек, Томас, просто ужас.

— Я такой старый человек, просто ужас. Поживете с мое…

— У меня еще никогда не было девушки, — сказал Пайл. — В настоящем смысле слова. Не было настоящего романа.

— Вы, американцы, слишком любите свистеть. У вас на это уходят все силы.

— Я ни с кем так откровенно не говорил.

— Вы еще молоды. Вам нечего стыдиться.

— А у вас, наверно, была уйма женщин, Фаулер?

— Что значит «уйма»? Четыре женщины — не больше — были мне дороги… или я им. Остальные сорок с лишним… просто диву даешься, к чему это! Ложные представления о гигиене и о том, как нужно вести себя в обществе.

— Вы уверены, что они ложные?

— Хотел бы я вернуть те ночи. Я ведь все еще влюблен, Пайл, а уже здорово поизносился. Ну, конечно, дело было еще и в самолюбии. Не сразу перестаешь гордиться тем, что тебя желают. А впрочем, один бог знает, чем тут гордиться: кого только вокруг не желают!

— А вам не кажется, Томас, что у меня что-то не в порядке?

— Нет, Пайл.

— Я вовсе не хочу сказать, что мне этого не нужно, Томас, как и всякому другому. У меня нет… никаких странностей?

— Не так уж нам это нужно, как мы делаем вид. Тут огромную роль играет самовнушение. Теперь-то я знаю, что мне никто не нужен, кроме Фуонг. Но такие вещи узнаешь только с годами. Не будь ее, я легко прожил бы год без единой бессонной ночи.

— Но она есть, — произнес он чуть слышно.

— Начинаешь с распутства, а кончаешь, как твой прадед, храня верность одной-единственной женщине.

— Должно быть, глупо начинать, сразу с конца…

— Нет, не глупо.

— По статистике комиссии Кинси такие случаи не встречаются.

— Тем более это не глупо.

— Знаете, Томас, мне очень приятно, с вами беседовать. И теперь мне совсем не страшно.

— Нам тоже так казалось во время «блица», когда наступило затишье. Но их самолеты всегда прилетали снова.

— Если бы вас спросили, что вас больше всего в жизни взволновало как мужчину?..

Ответить на это было нетрудно.

— Однажды я лежал ранним утром в постели и смотрел, как расчесывает волосы женщина в красном халате.

— Джо говорит, что у него это было тогда, когда он спал одновременно с китаянкой и негритянкой.

— И я мог сочинить что-нибудь в этом роде, когда мне было двадцать лет.

— Ему пятьдесят.

— Любопытно, сколько лет ему дали в армии по умственному развитию?

— Девушка в красном халате была Фуонг?

Я жалел, что он задал мне этот вопрос.

— Нет, — сказал я, — та женщина была раньше. Когда я ушел от жены.

— Что с ней случилось?

— Я ушел и от нее.

— Почему?

В самом деле, почему?

— Когда мы любим, мы глупеем. Меня приводило в ужас, что я могу ее потерять. Мне показалось, что мы начинаем охладевать друг к другу… Не знаю, было ли это так на самом деле, но меня мучила неизвестность. Я поспешил к финишу, как трус, который со страху бросается на врага и получает за это орден. Я хотел преодолеть смерть.

— Смерть?

— Это было похоже на смерть. Потом я уехал на Восток.

— И нашли Фуонг?

— Да.

— Но с Фуонг у вас этого уже не было?

— Нет, не было. Видите ли, та, другая, меня любила. Я боялся потерять любовь. Теперь я все-

го лишь боюсь потерять Фуонг. — К чему я это сказал? Он вовсе не нуждался в том, чтобы я его поощрял.

— Но ведь она вас любит?

— Не так, как надо. Это не в их характере. Вы убедитесь на собственной шкуре. Почему-то принято называть их детьми. Это — пошлость, но у них и в самом деле есть что-то детское. Они любят вас за доброту, за уверенность в завтрашнем дне, за ваши подарки; они ненавидят вас за то, что вы их ударили, за несправедливость. Они не понимают, как можно войти в комнату и влюбиться с первого взгляда. Для стареющего человека, Пайл, это очень отрадная черта, — Фуонг не сбежит от меня, если дома ей будет хорошо.

Я не хотел причинять ему боль. Я понял, что ее причинил, когда он сказал мне с плохо скрываемой злостью:

— Но ей могут предложить еще большую доброту или еще большую уверенность в завтрашнем дне; и она это предпочтет.

— Возможно.

— Вы этого не боитесь?

— Не так, как я боялся с другой.

— А вы вообще-то ее любите?

— Да, Пайл, да. Но только раз в жизни я любил

иначе.

— Несмотря на сорок с лишним женщин, которые у вас были, — огрызнулся он.

— Уверен, что это меньше нормы, установленной Кинси. Знаете, Пайл, женщины не любят девственников. И я не уверен, что мы любим девственниц, если не склонны к патологическим извращениям.

— Я вовсе не хотел сказать, что я девственник.

Все мои разговоры с Пайлом принимали в конце концов нелепый оборот. Потому ли, что он был таким простодушным? Он не умел обходить острые углы.

— Можно обладать сотней женщин, Пайл, и все же оставаться девственником. Большинство ваших солдат, повешенных во время войны за изнасилование, были девственниками. В Европе их у нас не так много. Я этому рад. Они причиняют немало бед.

— Я вас просто не понимаю, Томас.

— Не стоит объяснять. Да и тема мне порядком наскучила. Я уж в том возрасте, когда половой вопрос интересует меньше, чем старость или смерть. Проснувшись, я думаю о них, а не о женском теле. Мне не хочется на старости лет быть одиноким, вот и все. О чем бы я стал заботиться?

Лучше уж держать у себя в комнате женщину… даже такую, которую не любишь. Но если Фуонг от меня уйдет, разве у меня хватит сил найти другую?

— Если это все, для чего она вам нужна…

— Все? Подождите, пока вам не станет страшно прожить последние десять лет одному, с богадельней в конце пути. Тогда вы начнете кидаться из стороны в сторону, даже прочь от той женщины в красном халате, — лишь бы найти кого-нибудь — все равно кого, кто останется с вами до самого конца.

— Почему бы вам не вернуться к жене?

— Не так-то легко жить с человеком, которого обидел.

Автомат дал длинную очередь, — не дальше, чем за милю от нас. Может, какой-нибудь нервный часовой стрелял по собственной тени, а может, началась новая атака. Я надеялся, что там атака, — это повышало наши шансы.

— Вы боитесь, Томас?

— Конечно, боюсь. Всеми фибрами души. Хотя разумом понимаю, что лучше умереть именно так. Вот почему я и приехал на Восток. Смерть не отходит тут от тебя ни на шаг.

Я поглядел на часы. Было уже одиннадцать.

Еще восемь часов такой ночи, и можно будет отдохнуть. Я сказал:

— Кажется, мы переговорили обо всем на свете, кроме бога. Лучше оставить его на предрассветный час.

— Вы ведь не верите в бога?

— Не верю.

— Если бога нет, для меня все на свете бессмысленно.

— А для меня все бессмысленно, если он есть.

— Я как-то читал книгу…

Я так и не узнал, какую книгу читал Пайл (по всей видимости, это не были ни Йорк Гардинг, ни Шекспир, ни чтец-декламатор, ни «Физиология брака», скорее всего — «Триумф жизни»). Прямо в вышке у нас послышался голос — казалось, он раздается из тени у люка — глухой голос рупора, говоривший что-то по-вьетнамски.

— Вот и наш черед пришел, — сказал я.

Часовые слушали, разинув рты, повернувшись лицом к амбразуре.

— Что это? — спросил Пайл.

Подойти к амбразуре означало пройти сквозь этот голос. Я торопливо выглянул — там ничего не было видно, я даже не мог различить дорогу, но когда я обернулся, то увидел, что винтовка

нацелена не то в меня, не то в амбразуру. Стоило мне двинуться вдоль стены, и винтовка дрогнула, продолжая держать меня на прицеле; голос повторил те же слова снова и снова.

Я сел, и винтовка опустилась.

— Что он говорит? — спросил Пайл.

— Не знаю. Наверно, они нашли машину и предлагают этим ребятам нас выдать или что-нибудь в этом роде. Лучше возьмите автомат, пока они не решили, что им делать.

— Часовой выстрелит.

— Он еще не знает, как ему поступить. А когда решит, выстрелит непременно.

Пайл двинул ногой, и винтовка поднялась выше.

— Я пойду вдоль стены, — сказал я. — Если он переведет на меня глаза, возьмите его на мушку.

Когда я встал, голос смолк; тишина заставила меня вздрогнуть. Пайл отрывисто прикрикнул:

— Брось ружье!

Я едва успел подумать, заряжен ли автомат — раньше я не потрудился этого проверить, — как солдат бросил винтовку.

Я пересек комнату и поднял ее. Голос раздался снова, — мне казалось, он твердит одно и то же. Они, по-видимому, завели пластинку. Интересно,

когда истечет срок ультиматума?

— А что будет дальше? — спросил Пайл, совсем как школьник, которому показывают на уроке опыт; можно было подумать, что все это не имеет к нему никакого отношения.

— Выстрел из базуки, а то и вьетминец.

Пайл стал рассматривать свой автомат.

— Тут как будто нет ничего сложного, — сказал он. — Дать очередь?

— Нет, пусть они поразмыслят. Они предпочтут захватить пост без стрельбы, и это позволит нам выиграть время. Лучше поскорее убраться отсюда.

— А если они поджидают нас внизу?..

— И это возможно.

Солдаты наблюдали за нами; им обоим вместе было едва сорок лет.

— А что делать с ними? — спросил Пайл и добавил с поразившей меня прямолинейностью: — Пристрелить? — Ему, видимо, хотелось испробовать автомат.

— Они нам ничего не сделали.

— Но они же хотели нас выдать.

— А почему бы и нет? — возразил я. — Нам тут не место. Это их страна.

— Я разрядил винтовку и положил ее на пол.

— Надеюсь, вы не собираетесь ее здесь оставить, — сказал Пайл.

— Я слишком стар, чтобы бегать с ружьем. И это не моя война. Пойдемте.

Война была не моя, но знают ли об этом там, в темноте? Я задул фонарь и опустил ноги в люк, нащупывая лестницу. Слышно было, как часовые перешептываются на своем певучем языке.

— Бегите напрямик, — сказал я Пайлу, — в рисовое поле. Не забудьте, там вода, — не знаю, глубокая или нет. Готовы?

— Да.

— Спасибо за компанию.

— Это вам спасибо.

Я слышал, как за спиной движутся часовые; интересно, есть ли у них ножи? Голос из рупора звучал теперь повелительно, словно диктуя последние условия. Что-то шевельнулось в темноте под нами, но это могла быть крыса. Я не решался сделать первый шаг.

— Господи, хоть бы чего-нибудь выпить, — шепнул я.

— Скорее.

Что-то поднималось по лестнице; я ничего не слышал, но лестница дрожала у меня под ногами.

— Чего вы ждете? — спросил Пайл.

Странно, но почему-то мне померещилось, будто ко мне подкрадывается какая-то нечисть. Взбираться по лестнице мог только человек, и все же я не представлял себе, что это человек вроде меня; казалось, ко мне крадется зверь, он подбирается, чтобы убить тихо, но безжалостно, как и положено существу совсем иной породы. Лестница все дрожала, и мне чудилось, будто внизу горят чьи-то глаза. Вдруг я почувствовал, что больше не могу этого вынести, и прыгнул; внизу не оказалось ничего, кроме топкой земли, вцепившейся в мою лодыжку и свернувшей ее так, как это может сделать только рука. Было слышно, как по лестнице спускается Пайл; видно, я со страху совсем одурел и не понял, что дрожу я сам, а не лестница. А я-то считал себя человеком, прошедшим огонь и воду, лишенным воображения, как и подобает настоящему репортеру. Поднявшись на ноги, я едва снова не упал от боли. Я пошел, волоча ногу; за спиной я слышал шаги Пайла. Потом базука ударила по вышке, и я снова упал ничком на землю.

— Вы ранены? — спросил Пайл.

— Что-то стукнуло меня по ноге. Пустяки.

— Тогда пошли! — торопил Пайл. Я с трудом

различал его в темноте: казалось, он весь покрыт белой пылью. Затем он вдруг исчез, как кадр с экрана, когда гаснут лампы проекционного аппарата и действует только звуковая дорожка. Я осторожно приподнялся на здоровое колено и попробовал встать, совсем не опираясь на левую лодыжку, но у меня перехватило дыхание от боли, и я снова свалился. Дело было совсем не в лодыжке; что-то случилось с левой ногой. Меня больше ничего не интересовало, боль пересилила все. Я лежал на земле совсем неподвижно, надеясь, что боль меня оставит; я даже старался не дышать, как это делают, когда ноет зуб. Я уже не думал о вьетминцах, которые скоро начнут обыскивать развалины вышки, — в нее попал еще один снаряд; они хотели хорошенько подготовиться к штурму. «Как дорого стоит убивать людей, — подумал я, когда боль немножко приутихла, — куда дешевле убивать лошадей». Едва ли я был в полном сознании: мне вдруг почудилось, что я забрел на живодерню; в маленьком городке, где я родился, это было самое страшное место моего детства. Нам казалось, что мы слышим, как ржут от страха кони и как бьет убойный молоток.

Прошло несколько мгновений, а боль не воз-

вращалась; я лежал неподвижно, стараясь не дышать, — это мне казалось очень важным. Я раздумывал совершенно трезво, — не поползти ли мне в поле. У вьетминцев может не хватить времени на дальние поиски. Должно быть, их противники выслали новый патруль, чтобы установить связь с экипажем первого танка. Но меня больше пугала боль, чем партизаны, и я продолжал лежать. Пайла не было слышно; он, очевидно, добрался до поля. Вдруг я услышал плач. Он доносился с вышки или оттуда, где когда-то была вышка. Так не плачет мужчина; скорее так плачет ребенок, — он напуган темнотой и боится громко закричать. Я подумал, что это, наверно, один из парнишек, — может, его товарищ погиб. А я надеялся, что вьетминцы его не убьют. Нельзя воевать с детьми… В памяти моей снова возникло маленькое скрюченное тельце в канаве. Я закрыл глаза — это помогало от боли — и стал ждать. Чей-то голос крикнул, я не понял слов. У меня было ощущение, что я даже могу заснуть здесь в темноте и в одиночестве, если не будет боли.

Вдруг я услышал шепот Пайла:

— Томас! Томас!

Он быстро научился красться в темноте: я не

слышал, как он вернулся.

— Уходите, — прошептал я в ответ.

Он нашел меня и растянулся рядом.

— Почему вы не пришли? Вы ранены?

— Нога. Кажется, сломана.

— Пуля?

— Нет. Полено. Камень. Что-то упало с вышки. Кровь не течет.

— Возьмите себя в руки. Пойдемте.

— Уходите, Пайл. Ничего я не хочу делать, мне слишком больно.

— Какая нога?

— Левая.

Он подполз ко мне с другой стороны и перекинул мою руку себе через плечо. Мне хотелось захныкать, как мальчику на вышке, а потом я разозлился, но трудно было выразить зло шепотом.

— Идите к дьяволу, Пайл, не троньте меня. Я хочу остаться здесь.

— Нельзя.

Он подтащил меня к себе на плечо, и боль стала невыносимой.

— Не разыгрывайте героя. Я не пойду.

— Вы должны мне помочь, — сказал он, — или нас поймают обоих.

— Вы…

— Тише, не то они услышат.

Я плакал, скажу без прикрас, но только от досады. Я повис на нем, болтая левой ногой; мы двигались неловко, как участники шутовского бега на трех ногах, и у нас бы не было ни малейшего шанса спастись, если бы в тот миг, когда мы пустились в путь, где-то по дороге к следующей вышке не застучали короткие, частые очереди автомата; может, к нам пробивался патруль, а может, это они доводили до трех свой счет разрушенных вышек. Автомат заглушил звуки нашего медленного, неуклюжего бегства.

Не знаю, был ли я все время в сознании; думаю, что последние двадцать метров Пайл нес меня на себе. Он сказал:

— Осторожно. Мы уже в поле.

Сухие стебли риса шелестели вокруг нас, а жижа хлюпала и пучилась под ногами. Когда Пайл остановился, вода доходила нам до пояса. Он тяжело и прерывисто дышал, издавая низкие квакающие звуки.

— Простите, что доставил столько хлопот, — сказал я.

— Я не мог вас бросить, — объяснил Пайл.

Сперва я почувствовал облегчение: вода и жид-

кая глина держали мою ногу нежно и крепко, как перевязка; но скоро мы стали стучать зубами от холода. Я подумал, миновала ли уже полночь; мы могли проторчать тут часов шесть, если вьетминцы нас не найдут.

— Вы можете не опираться на меня хотя бы минутку? — спросил Пайл.

Я снова почувствовал слепое раздражение, — для него не было никакого оправдания, кроме боли. Разве я просил, чтобы меня спасали или оттягивали смерть ценой таких мучений?

Я с тоской думал о своем ложе на твердой сухой земле, стоя, как журавль, на одной ноге и пытаясь облегчить Пайлу тяжесть моего тела; когда я шевелился, стебли риса щекотали, кололи меня и шуршали.

— Вы спасли мне жизнь там, — сказал я, а когда Пайл откашлялся, чтобы ответить с подобающей скромностью, я закончил фразу: — чтобы я подох здесь. Я предпочел бы умереть на суше.

— Не надо разговаривать, — ответил мне Пайл, как больному. — Давайте беречь силы.

— Какой черт вас просил спасать мне жизнь? Я поехал на Восток, чтобы меня убили. Вечное ваше нахальство…

Я пошатнулся, и Пайл обвил моей рукой свою

шею.

— Не напрягайтесь, — сказал он.

— Вы насмотрелись кинофильмов про войну. Мы не десантники, и ордена вам все равно не дадут.

— Ш-ш!

Послышались шаги, приближавшиеся к краю поля; автомат на дороге смолк, и теперь были слышны лишь эти шаги да тихий шелест риса, когда мы дышали. Потом шаги смолкли; казалось, они смолкли где-то совсем рядом. Я почувствовал руку Пайла на своем здоровом боку, — она тихонько прижимала меня книзу; мы очень медленно погружались в грязь, чтобы не зашелестели рисовые стебли. Стоя на одном колене и запрокинув голову назад, я с трудом мог держать рот над водой. Боль вернулась, и я думал: «Если я потеряю сознание, я утону». Я всегда мучительно боялся утонуть. Почему человек не сам выбирает себе смерть? Не было слышно ни звука; а что если в каких-нибудь десяти метрах они ждут, чтобы мы шелохнулись, кашлянули, чихнули?.. «О господи, — подумал я, — сейчас я чихну». Если бы Пайл оставил меня в покое, — я отвечал бы только за свою жизнь, а не за его… а он хочет жить.

Я прижал пальцами свободной руки верхнюю губу, прибегая к той уловке, которую мы изобретаем в детстве, играя в прятки; но желание чихнуть не прошло: мне было не удержаться; а те, притаившись во тьме, ждали, когда я чихну. Вот-вот сейчас чихну — и я чихнул…

Но как раз в ту секунду, когда я чихнул, вьетминцы открыли стрельбу из автоматов, прочесывая огнем рисовое поле; резкие, сверлящие звуки — звуки машины, пробивающей отверстия в стали, заглушили мое чихание. Я набрал воздуху и погрузился в воду; так человек инстинктивно избегает желанного конца, кокетничая со смертью, словно женщина, которая требует, чтобы ее изнасиловал любовник. Рис был скошен над нашими головами, и буря пронеслась мимо. Мы вынырнули разом, чтобы вдохнуть воздух, и услышали, что шаги удаляются к вышке.

— Спасены, — сказал Пайл, и, несмотря на боль, я подумал, что же именно мы сберегли? Я — старость, редакторское кресло, одиночество; ну а Пайл, теперь мне ясно, что он радовался преждевременно. Потом, дрожа от холода, мы стали ждать. На дороге в Тайнинь вспыхнул костер; он горел по-праздничному весело.

— Это моя машина, — сказал я.

— Безобразие, — возмутился Пайл. — Терпеть не могу, когда портят добро.

— Видно, в баке нашлось немножко бензина, чтобы ее поджечь. Вы так же замерзли, как я?

— Больше некуда.

— А что если нам отсюда выбраться и прилечь у дороги?

— Подождем еще полчаса, — пусть уйдут.

— Вам тяжело меня держать.

— Выдержу, я молодой. — Он хотел пошутить, но от этой шутки я похолодел не меньше, чем от воды. Я собирался извиниться за все, на что толкала меня боль, но теперь он заставил меня взорваться снова.

— Ну, конечно, вы молодой. Вам ведь некуда торопиться…

— Я вас не понимаю, Томас.

Мы, казалось, провели вместе целую пропасть ночей, но он понимал меня не лучше, чем понимал по-французски. Я сказал:

— Лучше бы вы меня оставили в покое.

— Как бы я смог потом смотреть Фуонг в глаза? — возразил он, и это имя прозвучало, как вызов.

Я принял его.

— Значит, вы это сделали ради нее?

Ревность моя становилась особенно нелепой и унизительной оттого, что мне приходилось выражать ее чуть слышно, шепотом, — она была приглушенной, а ревность любит позу и декламацию.

— Думаете покорить ее своими подвигами? Ошибаетесь. Вот если бы меня убили, она была бы вашей.

— Я совсем не то хотел сказать, — ответил Пайл. — Когда вы влюблены, вам хочется быть на высоте, вот и все.

Это правда, подумал я, но не та правда, которую он подразумевает в простоте душевной. Когда ты влюблен, ты хочешь быть таким, каким тебя видит она, ты любишь ложное, возвышенное представление о себе. Любя, не знаешь, что такое честь, а подвиг — это лишь выигрышная роль, сыгранная для двух зрителей. Должно быть, я больше не был влюблен, но еще помнил, как это бывает.

— Будь вы на моем месте, я бы вас бросил, — сказал я.

— Вот уж не верю, Томас. — Он добавил с невыносимым самодовольством: — Я знаю вас лучше, чем вы сами себя.

Разозлившись, я попытался отодвинуться от

него и стать на собственные ноги, но боль ринулась на меня с ревом, как поезд в туннель, и я еще тяжелее навалился на него, а потом стал погружаться в воду. Он обхватил меня обеими руками и, держа над водой, стал потихоньку подталкивать к обочине дороги. Когда мы добрались туда, он положил меня плашмя в неглубокую грязь под насыпью, у самого края поля; боль отошла, я открыл глаза и стал дышать свободно; теперь я видел только замысловатые иероглифы созвездий, чужие письмена, которых я не мог прочесть: они были совсем другие, чем звезды моей родины. Лицо Пайла качнулось надо мной и скрыло от меня звезды.

— Я пойду вниз по дороге, Томас, поищу патруль.

— Не валяйте дурака, — сказал я. — Они вас пристрелят прежде, чем выяснят, кто вы такой. Если раньше с вами не покончат вьетминцы.

— Но другого выхода нет. Нельзя же вам пролежать шесть часов в воде.

— Тогда положите меня на дорогу.

— Оставить вам автомат? — спросил он с сомнением.

— Конечно, нет. Если уж вы решили изображать героя, ступайте осторожно через поле.

— Патруль проедет мимо, прежде чем я успею его позвать.

— Вы же не говорите по-французски…

— Я крикнул: «Je suis Frongçais»[38]. Не беспокойтесь, Томас, я буду осторожен.

Не успел я ответить, как он уже отошел и не мог больше слышать мой шепот; он старался идти как можно тише и часто останавливался. Я видел его в отсветах горевшей машины, но вскоре он миновал костер; потом шаги его поглотила тишина. О да, он был так же осторожен, как тогда, когда плыл в Фат-Дьем, принимая все предосторожности, как герой приключенческой повести для подростков, кичась своей осторожностью, словно знаком бойскаута, и не понимая всей нелепости своего приключения.

Я лежал и слушал — не раздастся ли выстрел вьетминца или патруля, но выстрела не последовало; пройдет час, а может быть, и больше, прежде чем он доберется до следующей вышки, если он до нее доберется вообще. Я повернул голову, чтобы взглянуть, что осталось от нашей вышки, — куча глины, бамбука и подпорки, — казалось, она становилась все ниже по мере того,

---

38 notes: 38
я француз (ломаный фр.)

как падало пламя горевшей машины. Боль ушла, и воцарился мир — нечто вроде перемирия для нервов: мне захотелось петь. Странно, что люди моей профессии сообщают о такой ночи, как эта, всего в двух строчках: для них она — самая обыкновенная, повседневная ночь, и только я был в ней чем-то необычным. Потом я снова услышал тихий плач из развалин вышки. Должно быть, один из часовых был еще жив.

«Бедняга, — подумал я, — если бы мы не застряли возле его поста, он смог бы сдаться в плен, как все они сдаются, или бежать при первом оклике из рупора. Но там были мы — двое белых, у нас был автомат, и они не посмели шевельнуться. Когда мы убежали, было уже слишком поздно». Моя вина, что этот голос плачет во тьме; я кичился своей непричастностью, тем, что я не воюю в этой войне, но раны были нанесены мной, словно я пустил в ход автомат, как хотел это сделать Пайл.

Я напряг все силы, чтобы выползти на дорогу. Мне нужно пробраться к часовому. Разделить его страдания — вот все, что мне оставалось. Но мои собственные страдания не пускали меня к нему. И я больше не слышал его плача. Я лежал неподвижно и не слышал ничего, кроме собственной боли, бившейся во мне, как чудовищное сердце.

Я затаил дыхание и молился богу, в которого не верил: «Дай мне умереть или потерять сознание. Дай мне умереть или потерять сознание». Потом я, вероятно, забылся и уже ничего не чувствовал, пока мне не приснилось, что мои веки смерзлись и кто-то вставляет между ними стамеску, чтобы их разжать; мне хочется предупредить, что они повредят глаза, но я не могу произнести ни слова, а стамеска вонзается мне в зрачки… Карманный фонарь светил мне в лицо.

— Мы спасены, Томас, — сказал Пайл.

Это я помню, но не помню того, о чем позже рассказывал Пайл: как я отталкивал его, говоря, что у вышки человек и раньше всего надо спасти его. Я не способен на сентиментальность, которую приписывает мне Пайл. Я себя знаю и знаю всю глубину моего себялюбия. Я не могу себя чувствовать спокойно (а ведь покой — это единственное, чего я хочу), если кто-нибудь страдает, — страдает зримо, слышимо или осязаемо. Вольно простакам принимать это за отзывчивость; но ведь все, что я делаю, сводится к отказу от маленького блага (в данном случае к небольшой отсрочке первой помощи мне) ради значительно большего блага: душевного покоя, который позволит мне думать только о себе.

Они вернулись и сказали, что мальчик умер, и это меня утешило; я не чувствовал и боли, после того как шприц с морфием вонзился мне в ногу.

3

Я медленно поднимался по лестнице в квартиру на улице Катина и остановился, чтобы передохнуть. На нижней площадке, примостившись возле уборной, как всегда, сплетничали старухи. По морщинам на лицах можно было прочесть их судьбу не хуже, чем по ладоням рук. Если бы я знал их язык, чего бы только они мне ни порассказали о том, что творилось здесь, пока я лежал в госпитале на пути из Тайниня. Не то в полях, не то на вышке я потерял ключи от квартиры. Я дал знать о своем приезде Фуонг, и если она была здесь, то получила мою записку. Слово «если» выражало всю мою неуверенность. В госпитале я не получал от нее вестей, но она едва писала по-французски, а я не читал по-вьетнамски. Я постучал в дверь, ее сразу открыли, и, казалось, все было по-старому. Я пристально вглядывался в ее лицо, а она спрашивала, как я себя чувствую, трогала мою ногу в лубке и подставляла плечо, чтобы о него опереться, словно такой хрупкий стебелек мог быть надежной опорой.

— Хорошо быть дома, — сказал я.

Она уверяла, что скучала по мне, и об этом-то,

конечно, мне и хотелось услышать; она всегда говорила то, что мне хотелось слышать, — разве что слова вырывались у нее невзначай. Вот и теперь я ждал, что вырвется у нее невзначай.

— Как ты развлекалась? — спросил я ее.

— Часто бывала у сестры. Она поступила на службу к американцам.

— Да ну? Ее устроил Пайл?

— Не Пайл, а Джо.

— Какой Джо?

— Ты его знаешь. Экономический атташе.

— Ну да, конечно, тот самый Джо.

Такой уж он был человек, что его всегда забывали. Я и по сей день не смог бы ничего о нем вспомнить, — кроме, пожалуй, его толщины, напудренных, гладко выбритых щек и утробного смеха; весь его облик от меня ускользал: я помнил только, что его звали Джо. Бывают такие люди, которых всегда зовут уменьшительными именами.

С помощью Фуонг я улегся на кровать.

— Ты ходила в кино? — спросил я.

— В кино «Катина» идет такая смешная картина... — И она сразу же начала мне рассказывать ее содержание со всеми подробностями, а я тем временем оглядывал комнату, нет ли где-нибудь

белого конвертика с телеграммой. Пока я о ней не спросил, я мог еще надеяться, что Фуонг забыла мне сказать и что телеграмма лежит на столе возле машинки, или на гардеробе, или даже в ящике буфета, где она хранит свои шарфы.

— Почтмейстер, — он, по-моему, почтмейстер, но может, конечно, и мэр, — он шел за ними следом до самого дома; он попросил у булочника лестницу, влез в окно к Коринне, но, понимаешь, она как раз вышла в другую комнату с Франсуа, а он не слышал, как вошла мадам Бомпьер, и она пришла, увидела его на верхушке лестницы и подумала…

— Кто такая мадам Бомпьер? — спросил я, отвернувшись, чтобы взглянуть на умывальник, куда она тоже иногда клала письма.

— Я же тебе говорила. Мать Коринны. Она хотела найти себе мужа, потому что она — вдова… — Фуонг уселась на кровать и положила руку мне на грудь, под рубашку. — Так было смешно! — сказала она.

— Поцелуй меня, Фуонг. — В ней не было ни малейшего кокетства. Она сразу же исполнила то, что я попросил, и продолжала рассказывать дальше. Она и отдалась бы мне так же безропотно: разделась, а потом продолжала бы свой рассказ о

мадам Бомпьер и злоключениях почтмейстера.

— Телеграмм не было?

— Была.

— Почему ты мне не сказала?

— Тебе слишком рано работать. Полежи, отдохни.

— Может, это не насчет работы.

Фуонг дала мне телеграмму, и я увидел, что она вскрыта. Я прочел: «Дайте четыреста слов военном и политическом положении связи кончиной де Латтра».

— Да, — сказал я. — Это и в самом деле насчет работы. Откуда ты знала? Зачем ты ее вскрыла?

— Я думала, что это от твоей жены. Надеялась, что там хорошие вести.

— Кто тебе ее прочел?

— Я носила ее к сестре.

— А если бы вести были плохие, ты бы от меня ушла, Фуонг?

Она потерла рукой мне грудь, чтобы меня утешить, не понимая, что на этот раз я нуждался в словах, как бы мало в них ни было правды.

— Хочешь трубку? Тебе есть письмо. Кажется, оно от нее.

— Ты его тоже вскрыла?

— Я не вскрываю твоих писем. Телеграммы

— их читают все. На почте их тоже читают.

Письмо было спрятано между ее шарфами. Она осторожно его вытащила и положила на постель. Я узнал почерк.

— А если вести будут плохие, ты…

Я отлично знал, какими могут быть эти вести. Телеграмма еще могла означать внезапный прилив великодушия, в письме же я найду только объяснения, оправдания… Поэтому я не кончил фразы: нечестно просить обещаний, которых все равно не сдержат.

— Чего ты боишься? — спросила Фуонг, и я мысленно ответил: «Боюсь одиночества, пресс-клуба и меблированной комнаты, боюсь Пайла…»

— Налей мне коньяку с содовой, — сказал я. Взглянув на обращение: «Дорогой Томас» и на подпись: «Любящая тебя Элен», я решил сперва выпить коньяку.

— Это от нее?

— Да. — Прежде чем прочесть письмо, я спросил себя: скажу я Фуонг правду или солгу?

«Дорогой Томас!

Я не удивилась, получив твое письмо и узнав, что ты теперь не один. Ты ведь не из тех, кто может подолгу оставаться в одиночестве, не правда ли? К тебе так же легко пристают женщины, как

к твоему пиджаку пыль. Возможно, я бы посочувствовала твоему положению, если бы не знала, что, вернувшись в Лондон, ты легко утешишься. Ты мне не поверишь, но единственное, что меня удерживает от того, чтобы просто протелеграфировать тебе краткое «нет», это мысль о бедной девушке. Нам, женщинам, ведь куда легче запутаться, чем вам».

Я выпил коньяку. Раньше я не понимал, как медленно затягиваются такого рода раны и что на это порой нужны годы и годы. Нечаянно, — неловко выбрав слова, — я снова разбередил ее раны. Кто может порицать ее за то, что в отместку и она ударила меня по самому больному месту? Когда мы несчастны, нам хочется заставить страдать других.

— Плохое письмо? — спросила Фуонг.

— Немножко жестокое, — сказал я. — Но она имеет право… — И стал читать дальше.

«Я прежде думала, что ты любишь Энн больше нас, других, но ты вдруг собрался и уехал. Теперь, видно, ты решил бросить еще одну женщину, потому что, судя по твоему письму, ты и не ждешь „благоприятного ответа“. „Что поделаешь, я сделал все, что мог“, — ты ведь так рассуждаешь, правда? А что, если бы я протелеграфировала

тебе „да“? Ты и в самом деле на ней бы женился? (Мне приходится писать „на ней“, потому что ты не сообщил мне ее имени.) Может быть, и женился. Как и все мы, ты, видимо, стареешь и не хочешь жить один. Я сама порой чувствую свое одиночество. Насколько мне известно, Энн нашла себе другого спутника жизни. Но ты вовремя ее оставил».

Она прикоснулась к самому больному месту. Я выпил еще коньяку. «Кровоточащая рана» — слова эти не выходили у меня из головы.

— Приготовить тебе трубку? — предложила Фуонг.

— Что хочешь, — сказал я, — делай что хочешь.

«Вот одна из причин, почему я должна сказать „нет“ (не стоит говорить о религиозных причинах, ты ведь никогда этого не понимал и не верил). Брак не мешает тебе бросать женщин, не так ли? Он лишь затягивает развязку, и девушке, о которой идет речь, будет только хуже, если ты проживешь с ней столько, сколько прожил со мной. Ты привезешь ее в Англию, где она будет чужой и заброшенной, а когда ты ее оставишь, она почувствует себя чудовищно одинокой. А она, наверно, не умеет даже пользоваться ножом

и вилкой… Я так безжалостна потому, что думаю о ее благе больше, чем о твоем. Но, милый Томас, я думаю и о твоем благе тоже».

Я почувствовал, что мне стало муторно. Давно не получал я писем от жены. Я вынудил ее мне написать и теперь чувствовал боль в каждой строке. Ее боль отозвалась и во мне болью; мы вернулись к привычному занятию — ранить друг друга. Если бы можно было любить, не нанося увечий! И верность тут не помогает: я был верен Энн и все-таки искалечил ее. Обладание уже само по себе причиняет боль: мы слишком бедны душой и телом, чтобы обладать без гордыни или принадлежать, не чувствуя унижения. Я был даже рад, что моя жена обидела меня снова, — я слишком долго не вспоминал о том, как она страдает, а это было единственным моим искуплением. К несчастью, во всякой борьбе страдают невинные. Повсюду и всегда слышен чей-то одинокий плач с вышки.

Фуонг зажгла лампу для опиума.

— Она позволит тебе на мне жениться?

— Еще не знаю.

— Ока об этом не пишет?

— Если и пишет, то где-нибудь в конце.

Я подумал: «Как ты чванишься тем, что ты

degage[39], — репортер, а не автор передовиц, — и сколько ты бед натворил втихомолку. Настоящая война куда безобиднее. Миномет наносит меньший урон».

«Лучше ли *тебе* будет, если я поступлюсь своими убеждениями и скажу «да»? Ты пишешь, что тебя отзывают в Англию, и я понимаю, как это тебе ненавистно. Ты сделаешь все, чтобы хоть как-нибудь скрасить эту неприятность. Я нисколько не удивлюсь, если, подвыпив, ты даже женишься. Первый раз мы по-настоящему хотели, чтобы из нашего брака что-нибудь вышло; мы старались оба и потерпели поражение. Во второй раз так не стараются. Ты пишешь, что потерять эту девушку для тебя смерти подобно. Однажды ты сказал мне эту же самую фразу, — могу показать письмо, оно у меня хранится; думаю, что то же самое ты писал и Энн. Ты уверяешь, что мы всегда старались говорить друг другу правду, однако твоя правда, Томас, — такая недолговечная правда! Но что толку спорить с тобой и все это тебе доказывать? Куда проще поступить так, как подсказывает вера, хоть ты считаешь ее неразумным наставником, и ответить тебе: я не признаю

---

39 notes: 39
лицо непричастное (фр.)

развода, моя религия это запрещает и потому ответ мой, Томас, гласит: нет и еще раз нет!»

За этим шло еще полстраницы, — я их не прочел, — а потом: «любящая тебя Элен». По-видимому, там были новости о погоде и о здоровье моей старой тетки, которую я любил.

Мне не на что было жаловаться: я ждал такого ответа. Многое в письме было правдой. Мне бы только хотелось, чтобы она не рассуждала так пространно — ведь такие мысли причиняли боль не только мне, но и ей.

— Она пишет «нет»?

Я ответил, почти не задумываясь:

— Она еще не решила. Еще можно надеяться.

— Ты говоришь о надежде с таким унылым лицом! — засмеялась Фуонг; готовя опиум, она прилегла у моих ног, как верная собака на могиле крестоносца, а я раздумывал, что мне сказать Пайлу. После четырех трубок будущее меня не так уж пугало, и я сказал ей, что надежда у нас есть: жена обратилась за советом к адвокату. Каждый день теперь можно ожидать телеграммы о том, что я свободен.

— Не так уж это важно. Ты можешь назначить мне обеспечение, — сказала она, и я услышал, как ее устами говорит сестра.

— У меня нет сбережений, — сказал я. — Мне трудно перебить цену у Пайла.

— Не беспокойся. Как-нибудь наладится. Всегда есть выход, — сказала она. — Сестра говорит, что ты можешь застраховать свою жизнь в мою пользу.

Я подумал, какими земными и здоровыми были ее уважение к деньгам и неохота произносить высокопарные и обязывавшие признания в любви. Интересно, сколько лет выдержит Пайл ее жестокосердие: ведь Пайл — романтик; да, но ведь там будет хорошее обеспечение, и ее жестокое сердце может размягчиться, как мускул, которым долго не пользовались за ненадобностью. Богатым — все блага.

В этот вечер, до того как закрылись магазины на улице Катина, Фуонг купила себе еще три шелковых шарфа. Сидя на кровати, она их мне показывала, громко восхищаясь яркими красками, заполняя пустоту в моей душе певучим голосом, а потом, тщательно сложив их, убрала, вместе с дюжиной других, в свой ящик; у нее был такой вид, словно она закладывала основу своего скромного обеспечения. А я закладывал шаткую основу своего будущего, написав в ту же ночь Пайлу и зря доверившись обманчивой ясности

мысли, которую порождает опиум. Вот что я ему писал, — я нашел на днях это письмо, оно было засунуто в книгу Йорка Гардинга «Миссия Запада». Пайл, по-видимому, читал, когда принесли письмо. Может, он воспользовался им как закладкой и не стал читать книгу дальше.

«Дорогой Пайл», — писал я ему, раз в жизни чувствуя искушение написать: «Дорогой Олден», — ведь это было важное деловое письмо, и лживостью своей оно мало чем отличалось от других деловых писем.

«Дорогой Пайл!

Я собирался написать Вам из госпиталя, чтобы поблагодарить за все, что Вы сделали для меня в ту ночь. Вы поистине спасли меня от незавидного конца. Я уже передвигаюсь, — правда, с помощью палки; я сломал ногу, по-видимому, как раз там, где нужно, а старость еще не тронула моих костей и не сделала их слишком хрупкими. Мы как-нибудь отпразднуем счастливый исход». (Перо мое застряло на этой фразе, а потом, словно муравей, наткнувшийся на препятствие, пошло кружным путем.) «Мне надо отпраздновать не только это; я верю, что и Вы будете рады, недаром же Вы всегда говорили, что больше всего на свете нам с Вами дороги интересы Фуонг. Когда я вернулся, я

застал письмо от жены, которая почти согласна дать мне развод. Поэтому Вам незачем больше беспокоиться о Фуонг».

Фраза была жестокая, но я не понял ее жестокости, пока не перечел письма, а исправлять его было поздно. Если бы я стал ее вымарывать, лучше было порвать все письмо.

— Какой шарф тебе нравится больше всего? — спросила Фуонг. — Мне желтый.

— Конечно, желтый. Ступай в гостиницу и отправь письмо.

Она взглянула на адрес.

— Я могу сама отнести его в миссию. Не нужно будет тратить марку.

— Лучше брось его в ящик.

Я откинулся назад, чувствуя, как меня успокаивает опиум, и мне пришла в голову мысль: «Теперь уж она меня не бросит, пока я не уеду, а завтра, выкурив несколько трубок, я придумаю, как мне остаться».

Повседневная жизнь идет своим чередом — это многих спасает от безумия. Даже во время воздушного налета нельзя беспрерывно испытывать страх. Так и под обстрелом привычных дел, случайных встреч, чужих треволнений человек надолго забывает о своих страхах. От мыслей

о неминуемом отъезде из Индокитая в апреле, о туманном будущем без Фуонг меня отвлекали потоки ежедневных телеграмм, бюллетени вьетнамской прессы и болезнь моего помощника индийца, по имени Домингес (родители его приехали из Гоа через Бомбей); он посещал вместо меня менее важные пресс-конференции, прислушивался ко всяческим слухам и сплетням и относил мои корреспонденции на телеграф и в цензуру. С помощью индийских купцов, особенно на Севере — в Хайфоне, Нам-Дине и Ханое, — он организовал для меня свою собственную разведку и, по-моему, знал куда лучше французского командования о расположении вьетнамских частей в дельте Тонкина.

И потому, что мы никогда не пользовались нашими сведениями, пока они не получали гласность, и ничего не сообщали французской разведке, Домингесу доверяли вьетминские подпольщики как в самом Сайгоне, так и в Шолоне. Ему помогало, наверно, и то, что он, несмотря на свое португальское имя, был азиатом.

Я любил Домингеса; у некоторых гордость видна сразу, как накожная болезнь, чувствительная к малейшему прикосновению, а его гордость была спрятана глубоко внутри и сведена до миниму-

ма. Ежедневно общаясь с ним, вы сталкивались только с душевной мягкостью, со скромностью и бесконечной любовью к правде; может быть, только жена могла обнаружить в нем гордость. Вероятно, правдивость и смирение всегда сопутствуют друг другу: ведь столько лжи рождает наша гордыня, а в моей профессии — амбиция репортера, желание напечатать более интересное сообщение, чем твой коллега. Домингес помогал мне ни обращать на это внимания, не слушаться телеграмм из Англии, где ругались, почему я не дал такого-то сообщения, хотя другой его дал, не послал отчета, который, как я знал, не соответствовал действительности.

Только теперь, когда Домингес заболел, я понял, как ему обязан, — подумать только: он ведь заботился даже о том, чтобы вовремя была заправлена моя машина; однако ни разу ни словом, ни взглядом не посягнул он на мою личную жизнь. Кажется, он был католик, но об этом говорило только его имя и место рождения; из разговоров с ним нельзя было понять, поклоняется ли он Кришне или совершает паломничество в пещеры Бату. Однако теперь его болезнь была моим спасением: она отвлекала меня от ярма сердечных забот. Мне самому приходилось высиживать

утомительные пресс-конференции и ковылять в «Континенталь», чтобы посплетничать с товарищами по профессии; но я не умел отличать правду от лжи так, как Домингес, и привык навещать его по вечерам, чтобы обсудить с ним новости дня. Иногда возле его узкой железной кровати, в комнате, которую Домингес снимал в одном из переулков победнее, у бульвара Галлиени, я встречал кого-нибудь из его друзей индийцев; Домингес, выпрямившись, сидел, поджав под себя ноги, и казалось, вы пришли не к больному, а на прием к радже или жрецу. Временами, когда его одолевала лихорадка, по лицу его градом катился пот, но он никогда не терял ясности мысли. Можно было подумать, что болезнь терзает не его, а чужое тело. Хозяйка наполняла кувшин у его изголовья свежим лимонным соком, но я никогда не видел, чтобы он пил, — может, он счел бы жажду признаком слабости или того, что его тело немощно.

Из всех моих посещений я особенно запомнил одно. Я перестал справляться о его здоровье, боясь, как бы вопрос не прозвучал упреком, зато он всегда заботливо спрашивал о моем самочувствии и извинялся, что, поднимаясь к нему, мне приходится одолевать столько ступенек.

— Мне хотелось бы, — сказал Домингес, — познакомить вас с одним моим другом. Он может вам кое-что сообщить.

— Что именно?

— Я написал его фамилию, зная, как вам трудно запоминать китайские имена. Конечно, это не для огласки. Мой друг торгует старым железом на набережной Митхо.

— Что-нибудь важное?

— Возможно.

— А в чем приблизительно дело?

— Лучше, если он вам скажет сам. У нас тут творятся странные вещи, но я еще толком в них не разобрался.

Пот лился с его лица струйками, но он к ним не прикасался, словно капли были чем-то одушевленным. Он был все-таки настоящим индийцем и не тронул бы и мухи.

— Вы хорошо знаете вашего друга Пайла? — спросил он.

— Не очень. Пути наши скрестились, вот и все. Я не встречался с ним после Тайниня.

— Чем он занимается?

— Сотрудничает в экономической миссии, но за этим скрывается целый сонм грехов. Кажется, он питает интерес к местным промыслам — несо-

мненно, хочет заграбастать их для американцев. Мне не нравится, что они заставляют французов продолжать войну, а сами тем временем захватывают их торговлю.

— На днях я слышал его речь на банкете, устроенном миссией в честь приезжих членов конгресса. Ему поручили их проинструктировать.

— Бедный конгресс, — сказал я. — Ведь этот молодой человек не прожил здесь и полгода.

— Он говорил о старых колониальных державах, об Англии и Франции, и о том, что им нечего рассчитывать на доверие азиатских народов. Тут должна сказать свое слово Америка — страна с чистыми руками.

— А Гонолулу, Пуэрто-Рико? — спросил я. — А Нью-Мексико?

— Потом кто-то задал ему обычный вопрос, сможет ли здешнее правительство одолеть вьетминцев. Он ответил, что на это способна только «третья сила». «Третью силу», свободную от коммунизма и от клейма колониализма (он называл ее национальной демократией), можно найти повсюду. Нужно только подыскать вождя и уберечь его от старых колониальных держав.

— Все это описано Йорком Гардингом, — сказал я. — До приезда сюда он начитался его книг. Пайл

пересказывал мне их, когда приехал. С тех пор он ничему не выучился.

— А может, он уже нашел вождя?

— Кому это интересно?

— Не знаю. Не знаю, что он делает. Но вы сходите к моему другу на набережную Митхо.

Я зашел домой на улицу Катина, чтобы оставить записку Фуонг, а когда солнце село, отправился по набережной мимо порта. Возле пароходов и серых военных катеров были расставлены столики и стулья; на небольших жаровнях шипели и пузырились какие-то кушанья. На бульваре де ла Сомм под деревьями орудовали цирюльники, а гадалки, примостившись на корточках у стены, тасовали засаленные карты. В Шолоне жизнь идет совсем по-другому: на исходе дня работа скорей начинается, чем затихает. Тут ты словно попадаешь на представление пантомимы: мимо длинных вертикальных китайских вывесок, ярких огней и толп фигурантов въезжаешь за кулисы, где вдруг становится темнее и тише. Миновав такие кулисы, я выехал на набережную, к скопищу сампанов, где во тьме зияли двери складов и не было ни души.

Я с трудом и скорее по наитию отыскал нужный адрес; ворота склада были открыты, и при свете

старой лампы я увидел странные очертания грудами наваленного старья, — словно с картины Пикассо: кровати, ванны, урны для мусора, капоты автомобилей. Там, где рухлядь попадала в полосу света, появлялись тусклые цветные пятна. Я шел по узкому ущелью, пробитому в этой груде старого железа, и звал мсье Чжоу, но никто не откликался. В конце пролета я увидел лестницу, которая, по-видимому, вела в жилище мсье Чжоу, — мне явно указали черный ход, на что у Домингеса, видимо, были свои соображения. Даже лестница и та по сторонам была завалена старьем — железным ломом, который когда-нибудь мог пригодиться в этом галочьем гнезде. На площадку выходила большая комната, и в ней расположилась, сидя или лежа, как на бивуаке, целая семья. Повсюду стояли чайные чашечки и неизвестно чем наполненные картонки, а на полу — затянутые ремнями фибровые чемоданы; на большой кровати восседала старая дама, по полу ползал младенец, тут же находились двое мальчиков и две девочки, три пожилые женщины в старых коричневых крестьянских штанах, а в углу играли в маджонг два старика в синих атласных халатах мандаринов. Не обращая внимания на мой приход, они играли быстро,

определяя кости на ощупь, и шум, который они издавали, был похож на шуршание гальки после того, как схлынет волна. Но и остальные не заметили моего появления; только кошка прыгнула в испуге на картонку, а тощая собака обнюхала меня и отошла подальше.

— Мсье Чжоу? — спросил я. Две женщины отрицательно покачали головами, однако никто по-прежнему не обращал на меня внимания, лишь одна из женщин, сполоснув чашку, налила мне чаю из чайника, который стоял в подбитом шелком футляре, чтобы не остынуть. Я присел на край постели рядом со старой дамой, и девочка подала мне чашку; меня словно приняли в общину, наравне с котом и собакой, — может статься, и они появились здесь так же нежданно-негаданно, как и я. Младенец подполз ко мне и стал тянуть меня за шнурки от ботинок, но никто его не побранил: на Востоке не принято бранить детей. На стенах висели три рекламных календаря, на которых были изображены девушки с розовыми щеками в ярких китайских костюмах. На большом зеркале виднелась таинственная надпись «Cafe de la Paix»[40] — верно, зеркало случайно

40 notes: 40
кафе мира (фр.)

попало сюда со всяким хламом; мне показалось, что я сам попал сюда вместе со старьем.

Я медленно отхлебывал горький зеленый чай, перекидывая чашечку с ладони на ладонь, потому что она обжигала мне пальцы, и раздумывал, когда же мне прилично будет уйти. Я попробовал заговорить по-французски, спросив, когда, по их мнению, вернется мсье Чжоу, но никто не ответил: меня, видно, не поняли. Когда чашечка моя опустела, ее наполнили снова, продолжая заниматься своими делами: одна из женщин гладила, девочка шила, мальчики готовили уроки, старая дама разглядывала свои ноги — крошечные искалеченные ноги, доставшиеся ей от старого Китая, — а пес следил за кошкой, которая все еще сидела на картонке.

Я начинал понимать, каким тяжким трудом зарабатывает Домингес свое скромное пропитание.

В комнату вошел крайне изможденный китаец; казалось, он не занимает никакого места и похож на лист вощеной бумаги, которой перекладывают печенье. Лишь его полосатая фланелевая пижама имела какой-то объем.

— Мсье Чжоу? — осведомился я. Он окинул меня безучастным взглядом курильщика опиума:

впалые щеки, детские запястья, девичьи руки, — много лет и много трубок понадобилось, чтобы обстрогать его до таких размеров.

— Мой друг мсье Домингес сказал мне, что вы можете мне что-то сообщить. Вы ведь мсье Чжоу?

— О, да, я мсье Чжоу, — сказал он и любезным взмахом руки предложил мне вернуться на свое место. Причина моего прихода сразу же затерялась в пропитанных опиумом закоулках его мозга. Не выпью ли я чашечку чаю? Мой визит — большая для него честь. Другую чашку сполоснули, выплеснули воду из нее прямо на пол и, наполнив, сунули мне в руки, словно раскаленный уголь, — пытка чаем.

— Ну и большая же у вас семья, — заметил я.

Он огляделся с легким недоумением, словно никогда прежде не думал о ней в этом свете.

— Моя мать, — сказал он, — жена, сестра, дядя, брат, мои дети, дети моей тетки. — Младенец откатился подальше и лежал на спине, болтая ножками и что-то воркуя. Чей он? Все присутствующие были либо слишком стары, либо слишком молоды, чтобы произвести его на свет.

— Мсье Домингес говорил мне, что у вас ко мне важное дело, — сказал я.

— Ах, мсье Домингес? Надеюсь, что мсье Домингес здоров?

— У него лихорадка.

— В это время года многие болеют.

Я не был уверен, что он помнит, кто такой Домингес. Он закашлялся, и под его пижамой, на которой недоставало двух пуговиц, натянутая кожа гудела, как туземный барабан.

— Вам не мешало бы самому показаться врачу, — сказал я. К нам присоединился еще один собеседник — я не слышал, как он вошел. Это был тщательно одетый молодой человек в европейском костюме. Он сказал по-английски:

— У мистера Чжоу только одно легкое.

— Какая жалость…

— Он выкуривает сто пятьдесят трубок в день.

— Многовато.

— Доктор говорит, что ему это вредно, но когда мистер Чжоу курит, у него куда легче на душе.

Я сочувственно хмыкнул.

— Разрешите представиться. Я управляющий мистера Чжоу.

— Меня зовут Фаулер. Я от мистера Домингеса. Он сказал, что мистер Чжоу хочет мне что-то сообщить.

— У мистера Чжоу очень ослабела память. Не

выпьете ли вы чашечку чаю?

— Спасибо, я уже выпил три. — Наша беседа была похожа на вопросы и ответы из разговорника.

Управляющий мистера Чжоу взял у меня из руки чашку и протянул ее одной из девочек; выплеснув ополоски на пол, та снова наполнила ее чаем.

— Недостаточно крепок, — сказал управляющий мистера Чжоу, взял чашку, попробовал чай, потом, старательно выполоскав чашку, наполнил ее из другого чайника. — Теперь вкуснее? — спросил он меня.

— Гораздо вкуснее.

Мистер Чжоу прочистил горло, но, как оказалось, лишь для того, чтобы отхаркать чудовищное количество мокроты в жестяную плевательницу, разукрашенную розовыми бутонами. Младенец катался по мокрому от спитого чая полу, а кот перепрыгнул с картонки на чемодан.

— Вам, пожалуй, лучше поговорить со мной, — сказал молодой человек. — Меня зовут мистер Хен.

— Не скажете ли вы…

— Давайте спустимся в склад, — прервал меня мистер Хен. — Там спокойнее.

Я протянул руку мистеру Чжоу, который с удив-

лением позволил ей полежать между своими ладонями; затем он оглядел комнату, словно желая уяснить себе, как я сюда попал. Когда мы спускались с лестницы, шуршание омываемой волной гальки стало удаляться. Мистер Хен сказал:

— Осторожнее. Тут недостает последней ступеньки. — Он осветил мне дорогу фонариком.

Мы снова оказались между кроватями и ваннами, и мистер Хен повел меня по боковому проходу. Сделав шагов двадцать, он остановился и, осветив фонариком небольшой железный бочонок, спросил:

— Видите?

— Что это такое?

Он перевернул бочонок и показал мне торговую марку: «Диолактон».

— Мне это ничего не говорит.

— У меня было два таких бочонка. Их прихватили вместе с ломом в гараже мистера Фан Ван Муоя. Вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Его жена — родственница генерала Тхе.

— Я, однако, не понимаю…

— Вы знаете, что это такое? — спросил мистер Хен, нагнувшись и подняв с земли длинный

полый предмет, похожий на палочку сельдерея; его хромированная поверхность поблескивала в луче фонарика.

— Трубка для ванны?

— Форма для литья, — сказал мистер Хен. — Он, видимо, принадлежал к тем дотошным людям, кому доставляет удовольствие давать объяснения. Помолчав, чтобы я лишний раз мог проявить свое невежество, он спросил: — Вы понимаете?

— Да, конечно, но все же я не вижу…

— Эта форма была изготовлена в США. «Диолактон» — американская фабричная марка. Теперь вы поняли?

— Откровенно говоря, нет.

— В форме есть изъян. Вот почему ее выбросили. Но ее не следовало выбрасывать вместе с другим ломом, а бочонок — тем более. Это была ошибка. Управляющий мистера Муоя приходил сюда лично. Я сделал вид, что мне не удалось найти форму, но отдал ему второй бочонок. Я сказал, что больше у меня ничего нет, а он уверял меня, что бочонки ему нужны для хранения химикалий. Он, конечно, не справлялся об этой форме, не желая себя выдать, но разыскивал ее очень упорно. Позже сам мистер Муой посетил американскую миссию, чтобы повидаться с ми-

стером Пайлом.

— Да у вас самая настоящая разведка! — сказал я, все еще не понимая, к чему он клонит.

— Я просил мистера Чжоу связаться с мистером Домингесом.

— Вы хотите сказать, что установили какую-то связь между Пайлом и генералом? — спросил я. — Связь довольно слабая. Да к тому же это ни для кого не новость. Все они тут работают на разведку.

Мистер Хен ударил каблуком по железному бочонку, и звук отдался в металлических кроватях. Он сказал:

— Мистер Фаулер, вы — англичанин. И нейтральны. Вы вели себя по отношению ко всем нам вполне объективно. Значит, вы можете понять тех из нас, кто от души предан одной из сторон…

— Если вы намекаете на то, что вы — коммунист или вьетминец, то можете не беспокоиться, меня это не волнует. Я не вмешиваюсь в политику.

— Если здесь, в Сайгоне, произойдут какие-нибудь неприятности, винить будут нас. Комитет хотел бы, чтобы вы отнеслись к нам объективно. Вот почему я показал вам и то, и другое.

— Что такое диолактон? — спросил я. — Напоминает название сгущенного молока.

— Он похож на сухое молоко. — Мистер Хен осветил своим фонариком содержимое барабана. На дне его лежал тонкий, как пыль, белый порошок. — Это один из видов американских пластмасс, — сказал он.

— До меня дошел слух, что Пайл ввозит пластмассу для производства игрушек. — Подняв форму, я поглядел на нее. Мысленно я старался угадать очертания будущего предмета. Он должен выглядеть совсем иначе: форма была как бы обратным отражением в зеркале.

— Отнюдь не для игрушек, — сказал мистер Хен.

— Это похоже на часть удочки.

— Форма необычная.

— Не понимаю, для чего она может служить.

Мистер Хен отвернулся.

— Я хочу, чтобы вы запомнили то, что видели, — сказал он на обратном пути, шагая в тени, которую отбрасывали груды наваленного хлама. — Может, когда-нибудь вам придется об этом написать. Но не надо говорить, что вы видели здесь бочонок.

— А форму?

— Форму — тем более.

Нелегко снова встретиться с человеком, ко-

торый, как говорится, спас вашу жизнь. Я не виделся с Пайлом, пока лежал в госпитале, и его вполне понятное отсутствие (он ведь куда болезненнее моего воспринимал наше щекотливое положение) непомерно меня тревожило. И по ночам, пока не действовало снотворное, я представлял себе, как он поднимается по моей лестнице, стучится в мою дверь и спит в моей постели. Я был к нему несправедлив, и к сознанию того, что я у него в долгу, примешивалось еще и чувство вины. К тому же мне было не по себе и за историю с письмом. (Какие отдаленные предки наградили меня этой идиотской совестью? Право же, она не отягощала их, когда они насиловали и убивали в свои палеолитические времена.) Я частенько задавал себе вопрос: пригласить мне моего спасителя на обед или выпить с ним в баре «Континенталь»? Передо мною встала не совсем обычная светская проблема, ее решают в зависимости от того, во что вы цените свою жизнь. Обед с бутылкой вина или двойная порция виски? Вопрос этот тревожил меня уже несколько дней, но его разрешил сам Пайл, придя и окликнув меня через запертую дверь. Я спал в этот жаркий послеполуденный час, измученный болью в ноге от ходьбы, и не услышал стука.

— Томас, Томас! — Зов его стал частью сна. Мне снилось, что я бреду по длинной пустой дороге и не могу дождаться поворота, его все нет и нет. Дорога вьется впереди, как лента телетайпа, и кажется, ей не будет конца, как вдруг в пустоту ворвался голос — сначала плач, доносящийся с вышки, а потом зов, обращенный ко мне: «Томас, Томас!»

— Убирайтесь, Пайл, — прошептал я. — Не подходите. Я не хочу, чтобы меня спасали.

— Томас! — Он колотил в дверь, но я притаился, будто я снова лежал в рисовом поле, а он был моим врагом. Вдруг до моего сознания дошло, что стук прекратился и кто-то тихо разговаривает за дверью. Шепот — вещь опасная. Я не знал, кто там шепчется. Потихоньку я сполз с кровати и с помощью палки добрался до двери. Должно быть, я двигался не очень ловко, и они меня услышали; во всяком случае, снаружи воцарилось молчание. Тишина, как растение, пустила побеги; казалось, она проросла под дверью и распустила листья в комнате. Мне не нравилось это молчание, и я нарушил его, распахнув настежь дверь. В проходе стояла Фуонг, руки Пайла лежали у нее на плечах; у них был такой вид, будто они только что целовались.

— Что ж, входите, — сказал я. — Входите.

— Я не мог вас дозваться, — объяснил Пайл.

— Сначала я спал, а потом не хотел, чтобы меня беспокоили. Но меня все равно побеспокоили, поэтому входите. — Я спросил по-французски Фуонг: — Где ты его нашла?

— Здесь. В коридоре. Я услышала, как он стучит, и побежала наверх, чтобы его впустить.

— Садитесь, — сказал я Пайлу. — Хотите кофе?

— Нет, я не сяду, Томас.

— А мне придется. Нога устает. Вы получили мое письмо?

— Да. Жаль, что вы его написали.

— Почему?

— Потому что это сплошная ложь. А я верил вам, Томас.

— Не верьте никому, когда в деле замешана женщина.

— Вот и вам теперь лучше мне не верить. Я буду пробираться сюда тайком, когда вас не будет дома, писать письма с адресом, напечатанным на машинке. Должно быть, я взрослею, Томас. — Но в его голосе были слезы, и он выглядел еще моложе, чем обычно. — Разве вы не могли победить без вранья?

— Нет. Двуличность — характерная черта евро-

пейца, Пайл. Приходится хоть как-то возмещать то, что мы бедны. Хотя лично я, кажется, был неловок. Как вам удалось уличить меня во лжи?

— Не мне, а ее сестре, — сказал Пайл. — Она теперь работает у Джо. Я только что ее видел. Она знает, что вас отзывают на родину.

— Ах, вы об этом, — сказал я с облегчением. — Фуонг тоже знает.

— А о письме от вашей жены? Фуонг знает о нем? Ее сестра видела и это письмо.

— Каким образом?

— Она зашла сюда вчера, когда вас не было дома, и Фуонг показала ей письмо. Мисс Хей читает по-английски.

— Понятно. — Бессмысленно было сердиться на кого бы то ни было: виноват, очевидно, был я один. Фуонг показала письмо, желая похвастаться, — поступок ее не был вызван недоверием.

— Ты знала об этом еще вчера ночью? — спросил я Фуонг.

— Да.

— Я заметил, что ты как-то притихла. — Я дотронулся до ее руки. — А ведь ты могла бушевать, как фурия. Но ты — Фуонг, ты не фурия.

— Мне надо было подумать, — сказала она, и я вспомнил, что, проснувшись ночью, я по ее

дыханию понял, что она не спит. Я протянул к ней руку и спросил: «Le cauchemar?»[41] Когда она появилась на улице Катина, ее мучили дурные сны, но прошлой ночью в ответ на мой вопрос она лишь покачала головой; Фуонг лежала ко мне спиной, и я придвинул к ней ногу, — первый шаг к сближению. Даже тогда я ничего не заметил.

— Объясните, пожалуйста, Томас, почему…

— По-моему, все ясно. Я хотел ее удержать.

— Чего бы это ей ни стоило?

— Конечно.

— Это не любовь.

— Может, не такая, как ваша, Пайл.

— Я хочу ее уберечь от всякого зла.

— А я нет. Ей не требуется ангел-хранитель. Я хочу, чтобы она была со мной. И днем и ночью.

— Против ее воли?

— Она не останется здесь против воли, Пайл.

— Она не может вас любить после того, что произошло. — Его понятия были очень незамысловаты. Я обернулся, чтобы поглядеть на Фуонг. Она вошла в спальню и одернула покрывало, на котором я лежал; потом сняла с полки одну из своих книжек с картинками и уселась с ней на

---

41 notes: 41
Кошмар? (фр.)

кровать, словно наш разговор ее совсем не касался. Я издали видел, что это была за книга: рассказ о жизни английской королевы в иллюстрациях. Мне была видна вверх ногами парадная карета по дороге к Вестминстеру.

— Слово «любовь» употребляется только на Западе, — сказал я. — Мы пользуемся им из сентиментальных побуждений или для того, чтобы прикрыть наше мучительное влечение к одной женщине. Здешние люди не знают мучительных влечений. Вы будете страдать, Пайл, если вовремя этого не поймете.

— Я бы вас поколотил, если бы не ваша нога.

— Вы должны быть благодарны мне… и сестре Фуонг. Теперь вы сможете действовать без угрызений совести — а вы ведь очень совестливы кое в чем. Правда, только тогда, когда дело не касается пластмассы.

— Пластмассы?

— Дай бог вам понять, что вы здесь творите, Пайл. О да, я знаю, у вас благородные побуждения, они всегда такие благородные, ваши побуждения! — Он смотрел на меня недоверчиво, с подозрением. — Лучше бы у вас хоть изредка бывали дурные побуждения, тогда бы вы чуточку лучше разбирались в людях. То, что я говорю,

относится не только к вам, но и к вашей стране, Пайл.

— Я хочу обеспечить Фуонг достойную жизнь. Тут — воняет.

— Мы заглушаем вонь благовонными палочками. А вы, небось, осчастливите ее мощным холодильником, собственной машиной, телевизором новейшей марки и…

— И детьми, — сказал он.

— Жизнерадостными молодыми американскими гражданами, готовыми дать показания в сенатской комиссии.

— А чем осчастливите ее вы? Вы ведь не собирались брать ее с собой.

— Нет, я не так жесток. Разве что мне будет по средствам купить ей обратный билет.

— Вы так и будете держать ее для своих удобств, покуда не уедете?

— Она ведь человек, Пайл. Она может сама решить свою судьбу.

— Исходя из ложных предпосылок, которые вы для нее состряпаете. К тому же она совсем дитя.

— Она не дитя. Она куда сильнее, чем будете вы когда бы то ни было. Бывает лак, на котором не остается царапин. Такова Фуонг. Она может пережить десяток таких, как мы. К ней придет

старость, вот и все. Она будет страдать от родов, от голода и холода, от ревматизма, но никогда не будет мучиться, как мы, от праздных мыслей, от неутоленных желаний, — на ней не будет царапин, она подвержена только тлению, как и все. — Но когда я говорил, следя за тем, как она переворачивает страницу (семейный портрет с принцессой Анной), я уже понимал, что выдумываю ее характер не хуже Пайла. Кто может знать, что творится в чужой душе? А вдруг она так же напугана, как и все мы; у нее просто нет умения выразить свои чувства — вот и все. И я припомнил тот первый мучительный год, когда я так страстно пытался ее понять, молил ее рассказать мне, о чем она думает, и пугал ее моим бессмысленным гневом, когда она молчала. Даже мое желание было оружием; казалось, стоит погрузить шпагу в тело жертвы, и она потеряет самообладание, заговорит…

— Вы сказали все, что могли, — объяснил я Пайлу. — И знаете все, что вам положено знать. Теперь уходите.

— Фуонг, — позвал он ее.

— Мсье Пайл? — осведомилась она, на минуту перестав разглядывать Виндзорский замок, и ее церемонная вежливость была в эту минуту и

смешной и обнадеживающей.

— Он вас обманул.

— Je ne comprends pas[42].

— Уйдите вы, слышите? — сказал я. — Ступайте к вашей «третьей силе», к Йорку Гардингу и «Миссии Демократии». Проваливайте, забавляйтесь вашей пластмассой.

Позже мне пришлось убедиться, что он выполнил мои указания в точности.

---

42 notes: 42
не понимаю (фр.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Прошло почти две недели со смерти Пайла, прежде чем я снова увидел Виго. Я поднимался по бульвару Шарне, и он окликнул меня из «Клуба». Этот ресторан пользовался в те дни особенным успехом у служащих французской охранки; словно бросая вызов всем, кто их ненавидел, они ели и пили внизу, хотя обычные посетители предпочитали сидеть наверху, подальше от партизан с ручными гранатами. Я подошел к Виго, и он заказал мне вермут-касси.

— Сыграем, кому платить?

— Пожалуйста. — Я вытащил кости для священной игры в «восемьдесят одно». Эта цифра и стук костей сразу же напоминают мне военные годы в Индокитае. Где бы мне ни пришлось увидеть людей, кидающих кости, я мысленно переношусь назад, на улицы Ханоя или Сайгона, в опаленные пожаром кварталы Фат-Дьема, слышу близкие разрывы мин, возле каналов вижу парашютистов, раскрашенных, как гусеницы, чтобы их не было видно сверху, а иногда у меня перед глазами встает мертвый ребенок.

— Без мыла, — сказал Виго, кинув четыре, два

и один. Он пододвинул мне последнюю спичку. У сотрудников французской охранки была мода пользоваться особым жаргоном в этой игре. Выдумал его, наверно, сам Виго, а потом его переняли и другие офицеры, чином пониже, которые почему-то не позаимствовали у Виго его страсти к Паскалю.

— Младший лейтенант.

Каждая проигранная партия повышала вас в звании, — вы играли, пока один из вас не получал чин командующего. Виго выиграл и вторую игру и, отсчитывая спички, сказал:

— Мы нашли собаку Пайла.

— Да ну?

— Ее, видно, не смогли отогнать от его тела. Во всяком случае, ей перерезали горло. Труп ее нашли в тине, метрах в сорока пяти от Пайла. Может, она туда отползла.

— Вас все еще занимает это дело?

— Американский посланник не дает нам покоя. У нас, слава богу, не поднимают такого шума, когда убивают француза. Правда, убийство французов здесь не редкость.

Мы бросили кости, чтобы поделить спички, а потом началась настоящая игра. С непостижимым проворством Виго выбрасывал четыре, два

и один. У него оставалось всего три спички, а у меня выпало самое маленькое число очков.

— Наннет, — сказал Виго, пододвигая мне еще две спички. Когда он избавился от последней, он произнес: — Командующий! — и я позвал официанта, чтобы заказать выпивку.

— Неужели кому-нибудь удается вас обыграть? — спросил я.

— Случается, но редко. Хотите отыграться?

— В другой раз. Из вас вышел бы профессиональный игрок! Вы играете и в другие игры?

Он жалко улыбнулся, и я почему-то вспомнил его блондинку-жену, которая, как поговаривали, изменяла ему с молодыми офицерами.

— Как сказать, — протянул он. — Человеку всегда доступна самая крупная из азартных игр.

— Самая крупная?

— «Давайте взвесим выигрыш и проигрыш, — процитировал он, — поставив ставку на то, что бог есть; давайте обсудим обе возможности. Выиграв, вы получите все на свете; проиграв, не потеряете ничего».

Я ответил ему словами того же Паскаля, — это была единственная цитата, которую я помнил: «И тот, кто выбрал „орла“, и тот, кто сказал „решка“, — одинаково ошибутся. Оба они неправы.

Правильно поступает тот, кто вовсе не бьется об заклад».

— «Да, но вам приходится на кого-то ставить. У вас нет выбора. Вы уже вступили в игру». А вы не следуете своим принципам, Фаулер. Вы втянулись в игру, как и все мы.

— Только не в вопросах религии.

— При чем тут религия? В сущности говоря, — пояснил он, — я думал о собаке Пайла.

— А-а-а…

— Помните, что вы мне тогда сказали по поводу улик, которые можно обнаружить, исследовав землю на ее лапах?

— Вы же мне ответили, что вы — не Мегрэ и не Лекок.

— А я все-таки кое-чего добился, — сказал он. — Ведь Пайл всегда брал собаку с собой, когда он куда-нибудь шел?

— Кажется, да.

— Он ею слишком дорожил, чтобы дать ей бродить где вздумается?

— Тут это опасно. Ведь здешние жители едят чау-чау, разве вы не знаете?

Он стал прятать кости в карман.

— Вы взяли мои кости, Виго.

— Простите. Нечаянно…

— Почему вы сказали, что все-таки я вступил в игру?

— Когда вы последний раз видели собаку Пайла?

— Ей-богу, не помню. Я не веду учета собачьим визитам.

— А когда вы собираетесь ехать в Англию?

— Еще не знаю. Терпеть не могу сообщать полиции что бы то ни было. Не хочу облегчать им жизнь.

— Мне бы хотелось сегодня вечерком к вам зайти, Часиков в десять, если у вас никого не будет.

— Я отправлю Фуонг в кино.

— У вас с ней опять все в порядке?

— Да.

— Странно. А мне показалось, что вы — как бы это выразиться — не очень счастливы.

— Право же, для этого найдется немало причин, Виго. — И я добавил грубо: — Кому это лучше знать, как не вам.

— Мне?

— Да. Вы и сами не очень-то счастливы.

— Ну, мне не на что жаловаться. «В сгоревшем доме не льют слез».

— Это откуда?

— Все из того же Паскаля. Рассуждение о том,

что человек может гордиться своим несчастьем. «Дерево не чувствует горя».

— Что вас заставило стать полицейским?

— Причин было много. Необходимость зарабатывать на хлеб, любопытство к людям, да, пожалуй, и страсть к Габорио[43].

— Вам следовало стать священником.

— Я не читал подходящих книг, по крайней мере в те годы.

— Вы все еще подозреваете, что я замешан в этом деле?

Он встал и допил свой вермут-касси.

— Я просто хочу с вами поговорить.

Когда он ушел, мне показалось, что он посмотрел на меня с состраданием, словно на приговоренного к пожизненному заключению узника, в чьей поимке он был виновен.

Я нес свой крест. Уйдя из моей квартиры, Пайл словно приговорил меня к тягостным неделям сомнений и неуверенности. Всякий раз, возвращаясь домой, я ждал беды. Иногда я не заставал Фуонг и никак не мог сесть за работу, раздумывая, вернется ли она вообще. Я спрашивал ее, где она была (стараясь не выказать ни тревоги, ни подо-

---

43 notes: 43
французский писатель (1835-1873), автор детективных романов

зрений), и она называла то базар, то лавку, сразу же предъявляя вещественные доказательства (самая ее готовность подтвердить свой рассказ казалась мне в ту пору подозрительной); по ее словам, она иногда ходила в кино, и обрывок билета всегда был у нее наготове; но чаще всего она бывала у сестры и там-то, по-моему, как раз и встречалась с Пайлом.

Я любил ее в те дни с какой-то ожесточенностью, словно ненавидел, но ненависть моя была не к ней, а к будущему. Одиночество лежало рядом со мной по ночам, и одиночество держал я в своих объятиях.

Фуонг нисколько не переменилась; она по-прежнему приносила мне еду, готовила трубки, нежно и ласково отдавала мне свое тело, но оно уже больше меня не радовало. И если в первые дни я хотел заглянуть ей в душу, то теперь я стремился прочесть ее мысли, спрятанные от меня за словами языка, которого я не понимал. Мне не хотелось ее допрашивать. Мне не хотелось заставлять ее лгать (до тех пор, пока ложь не была произнесена, я мог делать вид, что мы относимся друг к другу по-прежнему), но внезапно вместо меня заговаривала тревога.

— Когда ты последний раз видела Пайла?

Она помешкала, а может, и в самом деле старалась вспомнить.

— Тогда, когда он был здесь, — говорила она.

Я начал почти подсознательно хулить все, что имело отношение к Америке. Разговоры мои были полны попреков убожеству американской литературы, скандальному неприличию американской политики, дикой распущенности американских детей. У меня было чувство, словно не один человек, а целая нация отнимает у меня Фуонг. Все, что Америка делала, было плохо. Я стал докучать бесконечными разговорами об Америке даже моим французским друзьям, хотя они охотно разделяли мою неприязнь к этой стране. Меня словно предали, но разве кого-нибудь может предать его враг?

Как раз в эту пору и произошел случай с велосипедными бомбами. Вернувшись в пустую квартиру из бара «Империаль» (где была Фуонг — в кино или у сестры?), я нашел подсунутую под дверь записку. Она была от Домингеса. Он извинялся за то, что еще болен, и просил меня быть завтра утром, около половины одиннадцатого, у большого универмага на углу бульвара Шарне. Писал он по просьбе мистера Чжоу, но я подозревал, что понадобился скорее мистеру Хену.

Вся история, как потом оказалось, заслуживала только небольшой заметки, да и то в юмористическом тоне. Она не имела отношения к тяжелой, надрывающей душу войне на Севере, к каналам Фат-Дьема, забитым серыми, уже много дней мокнувшими там трупами, к уханью минометов и раскаленному добела жару напалма. Я дожидался уже около четверти часа возле цветочного ларька, как вдруг послышался скрежет тормозов, и со стороны здания охранки на улице Катина к углу подкатил грузовик, набитый полицейскими; выскочив из машины, они кинулись к магазину так, словно им надо было разогнать толпу, но толпы никакой не было, и магазин окружал лишь стальной частокол из велосипедов. Каждое большое здание в Сайгоне всегда огорожено велосипедами, ни один университетский поселок на Западе не имеет их столько, сколько здешние жители. Не успел я наладить фотоаппарат, как эта курьезная и необъяснимая операция была закончена. Полиция ворвалась в нагромождение велосипедов, извлекла оттуда три из них и, неся их высоко над головами, выбросила в фонтан, украшавший бульвар. Прежде чем мне удалось расспросить какого-нибудь полицейского, все они снова взобрались на свой грузовик и укатили

по бульвару Боннар.

— Операция «Велосипед», — произнес чей-то голос. Это был мистер Хен.

— Что это значит? — спросил я. — Учение? Для чего?

— Подождите еще немного, — предложил мистер Хен.

К фонтану, откуда торчало велосипедное колесо, как буй, который предупреждает суда, что под водой обломки кораблекрушения, стали подходить зеваки. К ним через дорогу направился полицейский, он что-то кричал и размахивал руками.

— Давайте посмотрим и мы, — сказал я.

— Лучше не надо, — посоветовал мистер Хен и поглядел на часы. Стрелки показывали четыре минуты двенадцатого.

— Ваши спешат, — сказал я.

— Они всегда впереди. — И в этот миг фонтан взорвался. Часть лепного украшения выбила соседнее окно, и осколки стекол сверкающим дождем полились на мостовую. Никто не был ранен. Мы отряхнулись от воды и осколков. Велосипедное колесо загудело волчком посреди бульвара, дернулось и упало.

— Ровно одиннадцать, — сказал мистер Хен.

— Господи, что же это такое?..

— Я знал, что вам будет интересно. Надеюсь, я не ошибся?

— Пойдем выпьем чего-нибудь?

— Простите, никак не могу. Должен вернуться к мистеру Чжоу. Но сперва разрешите мне вам кое-что показать. — Мистер Хен подвел меня к стоянке велосипедов и извлек оттуда свою машину. — Смотрите внимательно.

— «Ралей»? — спросил я.

— Не в этом дело, обратите внимание на насос. Он ничего вам не напоминает?

Мистер Хен покровительственно улыбнулся, глядя на мое недоумение, и отъехал, вертя педалями. Издали он помахал мне рукой, направляясь в Шолон к складу железного лома.

В охранке, куда я пошел навести справки, мне стало понятно, что он подразумевал. Форма, которую я видел на складе, представляла собой половинку велосипедного насоса. В тот день во всем Сайгоне невинные с виду велосипедные насосы оказались пластмассовыми бомбами и взорвались ровно в одиннадцать часов. Кое-где взрывы были вовремя предотвращены полицией, оповещенной, как я подозревал, мистером Хеном. Ничего чрезвычайного не произошло: десять

взрывов, шестеро слегка покалеченных людей и бог весть сколько исковерканных велосипедов. Мои коллеги — за исключением корреспондента «Экстрем ориан», который обозвал эту выходку «варварской»,

— понимали, что им дадут место в газете только в том случае, если они высмеют эту историю. «Велосипедные бомбы» — было хорошим заголовком. Все газеты приписали это дело коммунистам. Один только я утверждал, что бомбы были диверсией, затеянной генералом Тхе, но мой отчет переделали в редакции.

Генерал не был пищей для газетной сенсации. Нечего было тратить место на его обличение. Я выразил свое сожаление мистеру Хену, послав ему записку через Домингеса, — я сделал все, что мог. Мистер Хен передал мне в ответ устную благодарность. Тогда мне казалось, что он или его вьетминский комитет были слишком мнительны: никто всерьез не винил в этом деле коммунистов. Подобная шалость скорее создавала им репутацию людей, не лишенных чувства юмора. «Что они придумают еще?» — спрашивали друг друга люди на вечеринках, и вся эта нелепая история запечатлелась в моей памяти в образе велосипедного колеса, весело вертящегося

волчком посреди бульвара.

Я даже не намекнул Пайлу, что его связи с генералом Тхе для меня не секрет. Пусть забавляется своей невинной игрой с пластмассой — может быть, она отвлечет его от Фуонг. И все же однажды вечером, когда я был по соседству с гаражом мистера Муоя и мне нечего было делать, я решился туда зайти.

Гараж был маленький, и в нем царил почти такой же беспорядок, как и на складе железного лома. Посреди на домкрате стояла машина с поднятым капотом, похожая на разинувшее пасть чучело доисторического животного в провинциальном музее, куда никто не заглядывает. Казалось, эту машину тут просто забыли. Кругом на полу были навалены обрезки железа и старые ящики — вьетнамцы так же не любят ничего выбрасывать, как китайский повар: выкраивая из утки семь различных блюд, он не расстанется даже с когтем. Непонятно, почему так расточительно обошлись с пустыми бочонками и негодной формой: может, их украл какой-нибудь служащий в надежде заработать несколько пиастров, а может, кто-нибудь был подкуплен предприимчивым мистером Хеном.

В гараже было пусто, и я вышел. Они, видно,

решили пока что держаться подальше, опасаясь, что нагрянет полиция. Вероятно, у мистера Хена были кое-какие связи в охранке; правда, и в этом случае полиция вряд ли стала бы орудовать. Ей было выгоднее, чтобы жители думали, будто бомбы подложены коммунистами.

Кроме автомобиля и разбросанного на бетонном полу хлама, в гараже ничего не было видно. Интересно, как же мистер Муой делает свои бомбы? У меня были весьма туманные представления о том, как из белой пыли, которую я видел в барабане, получается пластмасса, однако процесс этот был наверняка сложен и не мог совершаться здесь, где даже два насоса для бензина и те казались совсем заброшенными. Я стоял в дверях и смотрел на улицу. Под деревьями посреди бульвара работали цирюльники; осколок зеркала, прибитый к стволу, отбрасывал солнечный блик. Мелкими шажками прошла девушка в шляпе, похожей на ракушку, неся на шесте две корзины. Гадалка, присев на корточки у стены, поймала клиента; старика с бородкой клинышком, как у Хо Ши Мина, который бесстрастно наблюдал за тем, как тасуют и раскладывают древние карты. Какое будущее его ожидало, стоило ли платить за него целый пиастр? На бульваре де ла Сомм жизнь

как на ладони: соседи знали всю подноготную мистера Муоя, но полиция не могла подобрать ключ к их доверию. Люди тут живут так, что всем все известно друг про друга, но вам не дано зажить их жизнью, слиться с ней, переступив свой порог. Я вспомнил старух, сплетничавших у нас на площадке рядом с уборной; они ведь тоже знали все, что происходит, но я не знал того, что знают они.

Я вернулся в гараж и прошел в маленькую конторку позади; на стене висел непременный китайский рекламный календарь, стоял захламленный письменный стол, на нем были прейскуранты, бутылка клея, арифмометр, обрезки бумаги, чайник, три чашки, множество неочиненных карандашей и чудом попавшая сюда открытка с видом Эйфелевой башни. Вольно было Йорку Гардингу выдумывать свои стройные абстракции насчет «третьей силы», но вот к чему она сводилась на деле. В задней стене была дверь; она была заперта, но ключ лежал на столе, среди карандашей. Я отпер дверь.

В небольшом сарае, размером не больше гаража, стояла машина, которая походила на клетку из проволоки и железных прутьев, с множеством перекладин для какой-то рослой бескрылой

птицы, — казалось, что клетка обмотана старыми тряпками, но тряпки предназначались, как видно, для чистки и были брошены мистером Муоем и его помощниками, когда их вспугнули. Я прочел название какой-то лионской фирмы, которая сделала эту машину, и номер патента, но что было запатентовано? Я включил ток, и старая машина ожила; стальные прутья имели свое предназначение, — все это устройство было похоже на старика, который, собрав последние силы, бьет кулаком по столу… Ага, это всего-навсего пресс; хотя он и принадлежит к тому же уровню техники, что и первый оркестрион, но во Вьетнаме, где ничего не выкидывают на свалку и где всякая вещь в любой день вдруг может ожить вновь (помню, я как-то видел допотопный фильм «Знаменитое ограбление поезда» — старая лента рывками ползла по экрану, все еще доставляя удовольствие зрителям в одной из улочек Нам-Диня), и этот пресс тоже был годен к употреблению.

Я осмотрел пресс более внимательно; на нем были следы белого порошка. Наверно, диолактон, подумал я, напоминает сухое молоко… Нигде не видно бочонка или формы. Я вернулся сначала в контору, а оттуда в гараж. Мне захотелось покровительственно похлопать по крылу старый

автомобиль; ему ведь еще долго ждать, пока о нем вспомнят. Но настанет день, и он… В этот час мистер Муой и его подручные уже далеко; они бредут где-то по рисовым полям к священной горе, на которой обосновал свой штаб генерал Тхе. Я крикнул; «Мсье Муой!» — и мне представилось, что кругом меня нет ни гаража, ни бульвара, ни цирюльников, что я снова в поле, где некогда прятался на пути из Тайниня. «Мсье Муой!» Мне почудилось, что чья-то голова шевельнулась в зарослях риса.

Я пошел домой, и старухи на площадке защебетали, как птицы в кустарнике, но я не понимал их птичьего гомона. Фуонг не было дома, — лежала записка, что она у сестры. Я растянулся на кровати — нога у меня еще быстро уставала — и сразу заснул. Когда я проснулся, светящиеся стрелки будильника показывали двадцать пять минут второго, и, повернув голову, я думал, что найду возле себя Фуонг. Но подушка была не смята. Фуонг, наверно, сменила сегодня и простыни: в них еще сохранилась прохлада свежевыстиранного белья. Я встал и выдвинул ящик, где она прятала свои шарфы, — их не было. Я подошел к книжной полке — иллюстрированной биографии английской королевы не было тоже. Она унесла с собой

все свое приданое.

Сразу после удара почти не чувствуешь боли; боль пришла часа в три утра, когда я стал обдумывать жизнь, которую мне все же суждено было прожить, перебирая в памяти прошлое, чтобы хоть как-нибудь от него избавиться. Хуже всего обстояло дело с приятными воспоминаниями, и я старался припомнить только неприятное. У меня уже был навык. Я через это прошел. Я знал, что смогу сделать то, что положено, но теперь я был много старше: у меня оставалось слишком мало сил, чтобы строить жизнь заново.

Я пошел в американскую миссию и спросил Пайла. У входа пришлось заполнить анкету и отдать ее служащему военной полиции.

— Вы не указали цели своего прихода, — заметил он.

— Он ее знает.

— Значит, вам назначен прием?

— Можно считать, что так.

— Вам все это, вероятно, кажется глупым, но нам приходится держать ухо востро. Сюда иногда заходят странные типы.

— Да, говорят.

Он языком передвинул жевательную резинку под другую щеку и вошел в кабинку лифта. Я

остался ждать. Что я скажу Пайлу? В такой роли я не выступал еще ни разу. Полицейский вернулся. Он нехотя сказал:

— Ну что ж, ступайте наверх. Комната 12-а. Первый этаж.

Войдя в комнату, я увидел, что Пайла нет. За столом сидел Джо, атташе по экономическим вопросам (я так и не смог припомнить его фамилию). Из-за столика с пишущей машинкой на меня поглядывала сестра Фуонг. Что можно было прочесть в этих карих глазах стяжательницы: торжество?

— Пожалуйте, пожалуйте, Том, — шумно приглашал меня Джо. — Рад вас видеть. Как нога? Вы — редкий гость в нашем заведении. Пододвиньте стул. Расскажите, как, по-вашему, идет наступление. Вчера вечером видел в «Континентале» Гренджера. Опять собирается на Север. Этот парень прямо горит на работе! Где запахло порохом, там ищи Гренджера! Хотите сигарету? Прошу вас. Вы знакомы с мисс Хей? Не умею запоминать их имена: для меня, старика, они слишком трудны. Я зову ее: «Эй, вы!», и ей нравится. У нас тут по-домашнему, без всякого колониализма. А что болтают насчет цен на товары, а, Том? Ведь ваш брат-газетчик всегда в курсе дела… Очень огорчен

историей с вашей ногой. Олден рассказывал…

— Где Пайл?

— Олдена нет сегодня в конторе. Он скорее всего дома. Большую часть работы он делает дома.

— Я знаю, что он делает дома.

— Этот мальчик — работяга. Простите, как вы сказали?

— Я знаю, чем он сейчас занимается дома.

— Не понимаю вас, Том. Недаром меня в детстве дразнили «тупицей». С тем и помру.

— Он спит с моей девушкой, сестрой вашей машинистки.

— Что вы говорите!

— Спросите ее. Это она состряпала. Пайл отнял мою девушку.

— Послушайте, Фаулер, я думал, вы пришли по делу! Нельзя устраивать скандалы в учреждении.

— Я пришел повидать Пайла, но он, видно, прячется.

— Уж кому-кому, а вам грешно говорить такие вещи. После того, что Олден для вас сделал…

— Ну да, конечно. Он спас мне жизнь. Но я его об этом не просил.

— Он рисковал своей головой. А у этого мальчика есть голова!

— Плевать мне на его голову. Да и ему сейчас нужна совсем не голова, а…

— Я не позволю говорить двусмысленности, Фаулер, да еще в присутствии дамы.

— Мы с этой дамой не первый день знаем друг друга. Ей не удалось поживиться у меня, вот она и надеется получить свою мзду у Пайла. Ладно. Я знаю, что веду себя неприлично, но я и впредь намерен вести себя так же. В таких случаях люди всегда ведут себя неприлично.

— У нас много работы. Надо составить отчет о добыче каучука…

— Не беспокойтесь, я ухожу. Но если Пайл позвонит, скажите, что я к нему заходил. Вдруг он сочтет невежливым не отдать мне визита? — Я сказал сестре Фуонг: — Надеюсь, вы заверите их брачный контракт не только у городского нотариуса, но и у американского консула и в протестантской церкви?..

Я вышел в коридор. Напротив была дверь с надписью «Для мужчин». Я вошел, запер дверь, прижал голову к холодной стене и заплакал. До сих пор я не плакал. Даже в уборных у них был кондиционированный воздух, и умеренная умиротворяющая температура постепенно высушила мои слезы, как она сушит слюну во рту и

животворное семя в теле.

Я бросил всю работу на Домингеса и поехал на Север. У меня были друзья в эскадрилье «Гасконь» в Хайфоне, и я часами просиживал в баре на аэродроме или играл в кегли на усыпанной гравием дорожке. Официально считалось, что я — на фронте, и теперь я мог потягаться в рвении с самим Гренджером, но толку от этого для моей газеты было не больше, чем от экскурсии в Фат-Дьем. Однако, если пишешь о войне, самолюбие требует, чтобы ты хоть изредка делил с солдатами их опасности.

Но делить их было совсем не так легко: из Ханоя пришел приказ пускать меня только в горизонтальные полеты, а в этой войне они были так же безопасны, как поездка в автобусе; мы летали так высоко, что нас не доставали даже крупнокалиберные пулеметы; нам ничего не угрожало, кроме неполадки с мотором или оплошности летчика. Мы вылетали по графику и возвращались по графику; бомбовая нагрузка сбрасывалась по диагонали. С перекрестка дорог или с моста навстречу нам подымался крутящийся столб дыма, а потом мы отправлялись домой, чтобы успеть выпить до обеда и поиграть в чугунные кегли на усыпанной гравием дорожке.

Как-то утром в офицерской столовой я пил коньяк с молодым летчиком, мечтавшим когда-нибудь повеселиться в Саусэнде. Он получил приказ о вылете.

— Хотите полететь со мной?

Я согласился. Даже в горизонтальном полете можно убить время и убить мысли. По дороге на аэродром он заметил:

— Это вертикальный полет.

— А я думал, мне запрещено…

— Важно, чтобы вы об этом ничего не написали. Зато я покажу вам часть страны у китайской границы, которой вы еще не видели. Около Лай-Чау.

— Мне казалось, что там тихо… что там французы.

— Было тихо. Пост захвачен два дня назад. Через несколько часов там будут наши парашютисты. Надо, чтобы вьетминцы не смели и головы высунуть из своих щелей, пока мы не отобьем пост обратно. Приказано пикировать и обстреливать объекты из пулемета. Для операции выделены только две машины, одна уже вылетела. Вы когда-нибудь бомбили с пике?

— Нет.

— Поначалу будете чувствовать себя неважно.

Эскадрилья «Гасконь» располагала только лег-

кими бомбардировщиками Б-26

— французы звали их вертихвостками, потому что при малом размахе крыльев у них, казалось, не было верной опоры. Я примостился на маленьком металлическом сиденье величиной с велосипедное седло и уперся коленями в спину штурмана. Мы поднялись над Красной рекой, медленно набирая высоту, и в этот час река была и в самом деле красной. Время словно отступило назад, и ты видел реку глазами древнего географа, который окрестил ее именно в этот час, когда солнце заливает ее всю от края до края; потом, на высоте трех тысяч метров, мы свернули к Черной реке, — действительно черной, где тени не преломляли лучей, — и могучая, царственная панорама ущелий, утесов и джунглей развертывалась и вставала отвесной стеной. Можно посадить целую эскадрилью на зеленые и серые поля, и это будет так же незаметно, как если бы ты разбросал по пашне пригоршню монет. Далеко впереди летел самолет и отсюда казался не больше мошки. Мы шли ему на смену.

Сделав два круга над сторожевой вышкой и опоясанной зеленью деревней, мы штопором врезались вверх, в ослепительную пустоту. Пилот — его звали Труэн — повернулся ко мне лицом

и подмигнул; на рулевом колесе у него были кнопки, приводившие в действие орудие и бомбовый спуск; когда мы заняли положение для пикирования, я почувствовал, как внутри у меня все оборвалось, — ощущение, которое бывает у тебя на первом балу, на первом званом обеде, в дни первой любви. Я вспомнил американские горы в Уэмбли: взлетишь на самую вершину и не можешь выскочить, — ты пойман в капкан незнакомого дотоле чувства. На приборе я успел прочесть высоту в три тысячи метров, и мы метнулись вниз. Я весь превратился в ощущение, видеть я больше не мог. Меня прижало к спине штурмана; казалось, тяжелый груз давит мне на грудь. Я не почувствовал, как сбросили бомбы; потом застрекотал пулемет, кабина наполнилась запахом пороха, и, когда мы стали набирать высоту, тяжесть с моей груди спала, а вместо этого в желудке снова разверзлась пустота, и мне померещилось, что мои внутренности ринулись вниз, как самоубийца, и, крутясь, стали падать на землю, которую мы оставили там, внизу. Целых сорок секунд для меня не существовало Пайла; не было даже одиночества. Мы поднимались, описывая огромную дугу, и я увидел в боковое окно, как на меня устремляется столб дыма. Перед новым

пикированием я почувствовал страх — боязнь показаться жалким, боязнь, что меня стошнит прямо на спину штурману, что мои изношенные легкие не выдержат такого давления. После десятого пикирования я чувствовал только злость — игра слишком затянулась, пора было отправляться домой. Мы снова круто взмыли кверху из радиуса пулеметного огня, развернулись, и дым протянулся к нам, словно палец. Деревня со всех сторон была окружена горами. Всякий раз мы должны были подходить к ней через одно и то же ущелье. У нас не было возможности варьировать наше нападение. Мы спикировали в четырнадцатый раз, и я почувствовал, что меня больше не мучит страх унижения. «Стоит им только установить хоть один пулемет в нужной позиции…» Мы снова поднялись на безопасную высоту, — а может, у них не было даже и пулемета? Сорок минут длился наш налет и казался мне вечностью, но я отдохнул от тягостных мыслей. Когда мы повернули назад, солнце садилось; видение древнего географа исчезло; Черная река не была больше черной, а Красная река была просто золотой.

Мы снова пошли вниз, прочь от сучковатого, изрезанного прогалинами леса, к реке; выровнялись над заброшенными рисовыми полями,

кинулись, как камень из пращи, на маленький сампан на желтом протоке. Пушка дала одну трассирующую очередь, и сампан рассыпался на куски в фонтане искр; мы даже не стали смотреть, как барахтаются, спасая свою жизнь, наши жертвы, набрали высоту и отправились домой.

Я подумал снова, как и в тот раз, когда увидел мертвого ребенка в Фат-Дьеме: «Ненавижу войну». В нашем внезапном и таком случайном выборе добычи было что-то донельзя отвратительное, — мы просто летели мимо и дали наудачу один-единственный залп; некому было ответить на наш огонь, и вот мы ушли, внеся свою маленькую лепту в численность мертвецов на земле. Я надел наушники, чтобы капитан Труэн мог со мной поговорить. Он сказал:

— Мы сделаем небольшой крюк. Заход солнца удивительно красив в известковых горах. Жаль, если вы его не увидите, — добавил он любезно, как хозяин, показывающий гостю красоты своего поместья. Больше полутораста километров мы шли по следам солнца, заходившего за бухту д'Алон. Обрамленное шлемом лицо марсианина тоскливо поглядывало вниз, на позолоченные проходы между огромными горбами и арками из пористого камня, и рана от содеянного убийства

перестала кровоточить.

В ту ночь капитан Труэн настоял на том, чтобы я был его гостем в курильне опиума, хотя сам он и не курил. Ему нравится запах, говорил он, ему нравится ощущение вечернего покоя, но в его профессии нельзя распускаться. Есть офицеры, которые курят опиум, но они служат в пехоте, ему же надо высыпаться. Мы лежали в маленькой кабинке, в одной из целой вереницы маленьких кабинок, как в школьном дортуаре, и китаец, хозяин курильни, подавал мне трубки. Я не курил с тех пор, как от меня ушла Фуонг. По ту сторону прохода, свернувшись клубком, лежала метиска с длинными красивыми ногами и, выкурив трубку, читала женский журнал на атласной бумаге, а в кабинке рядом два пожилых китайца вели деловую беседу, потягивая чай и отложив в сторону трубки. Я спросил:

— Тот сампан, сегодня вечером, разве он кому-нибудь мешал?

— Кто его знает? — ответил Труэн. — На этом плесе нам приказано расстреливать все, что попадется на глаза.

Я выкурил первую трубку, стараясь не думать о всех тех трубках, которые выкурил дома. Труэн сказал:

— Сегодняшняя операция — это не самое скверное, что может выпасть на долю такого, как я. Когда летаешь над деревней, тебя могут сбить. Риск и у меня, и у них одинаковый. Вот что я ненавижу, это бомбежку напалмом. С тысячи метров, в полной безопасности, — он безнадежно махнул рукой, — смотришь, как огонь охватывает лес. Бог его знает, что бы ты увидел оттуда, снизу. Бедняги горят живьем, пламя заливает их, как вода. Они насквозь пропитаны огнем. — Труэн говорил, злясь на весь мир, который не желает ничего понимать. — Разве мне нужна война за колонии? Стал бы я делать то, что делаю, ради каких-то плантаторов? Пусть меня лучше предадут военно-полевому суду! Мы всегда воюем за вас, а всю вину несем мы же.

— Да, но тот сампан… — сказал я.

— И сампан тоже. — Он следил за тем, как я потянулся за второй трубкой.

— Я завидую вашему умению убегать от действительности.

— Вы не знаете, от чего я бегу. Не от войны. Она меня не касается. Я к ней непричастен.

— Она всех коснется. Придет и ваш черед.

— Только не меня.

— А почему вы хромаете?

— Они имели право в меня стрелять, но не делали даже и этого. Они хотели разрушить вышку. Опаснее всего подрывники. Даже на Пикадилли.

— Настанет день, и вам придется стать на чью-нибудь сторону.

— Нет, я возвращаюсь в Англию.

— Помните, вы как-то раз показывали мне фотографию…

— А-а… я ее разорвал. Она от меня ушла.

— Простите.

— Такова жизнь. Сначала уходишь ты, потом течение меняется. Еще немножко, и я поверю в возмездие.

— Я в него верю. Первый раз, когда я сбросил напалм, у меня мелькнула мысль: вот деревня, где я родился. Тут живет старый друг моего отца мсье Дюбуа. Булочник — в детстве я очень любил нашего булочника, — вот он бежит там, внизу, объятый огнем, который я на него сбросил. Даже те, из Виши, не бомбили свою собственную страну. Я казался себе куда хуже их.

— Но вы продолжаете делать свое дело.

— Потом горечь проходит. Она возвращается, когда бомбишь напалмом. В обычное время мне кажется, что я защищаю Европу. Те, другие, они тоже иногда позволяют себе всякие безобразия.

Когда в сорок шестом году их выгнали из Ханоя, они оставили там страшную память. Они не жалели тех, кого подозревали в помощи нам. В морге лежала девушка, — у нее отрезали грудь, а ее любовника изувечили…

— Вот почему я не хочу ни во что вмешиваться.

— Дело тут не в убеждениях и не в жажде справедливости. Все мы во что-нибудь вмешиваемся, — стоит только поддаться чувству, а потом уже не выпутаешься. И в войне и в любви, — недаром их всегда сравнивают. — Он печально взглянул на кабину, где лежала метиска, наслаждаясь глубоким, хоть и недолгим покоем, и сказал: — Да я, пожалуй, и не хотел бы ничего другого. Вон лежит девушка, которую впутали в войну ее родители, — что с ней будет, когда порт падет? Франция — только наполовину ее родина…

— А он падет?

— Вы ведь газетчик. Вы лучше моего знаете, что мы не можем победить. Вы знаете, что дорога в Ханой перерезана и каждую ночь минируется. Вы знаете, что каждый год мы теряем целый выпуск Сен-Сира. Нас чуть было не побили в пятидесятом году. Де Латтр дал нам два года передышки — вот

и все. Но мы — кадровые военные, мы должны драться до тех пор, пока политики не скажут нам: «Стоп!» Они возьмут да и сядут в кружок и договорятся о мире, который мог быть у нас с самого начала; и тогда эти годы покажутся полной бессмыслицей. — На его некрасивом лице, — я вспомнил, как он подмигнул мне тогда, перед пикированием, — застыло выражение привычной жесткости, но глаза смотрели, как из отверстий картонной маски, совсем по-детски. — Вам не понять, какая это бессмыслица, Фаулер. Вы ведь не француз.

— В жизни не только война делает прожитые годы бессмыслицей.

Он как-то странно, по-отечески положил мне руку на колено.

— Уведите ее к себе, — сказал он. — Это куда лучше трубки.

— Почем вы знаете, что она пойдет?

— Я с ней спал, и лейтенант Перрен тоже. Пятьсот пиастров.

— Дорого.

— Думаю, что она пойдет и за триста, но в таких делах не торгуются.

Но его совет был неудачным. Человеческое тело ограничено в своих возможностях, а мое

к тому же окаменело от воспоминаний. То, до чего в эту ночь дотрагивались мои руки, было, пожалуй, красивее того, к чему они привыкли, но нас держит в плену не одна красота. Девушка душилась теми же духами, что Фуонг, и вдруг, в последнюю минуту, призрак того, что я потерял, оказался куда сильнее лежавшего со мной тела. Я отодвинулся, лег на спину, и желание меня оставило.

— Простите, — сказал я и солгал: — Не знаю, что со мной происходит.

Она сказала с глубокой нежностью и полным непониманием:

— Не беспокойтесь. Так часто бывает. Это опиум.

— Ну да, — сказал я. — Опиум. — И в душе помолился, чтобы это было правдой.

2

Странно было возвращаться в Сайгон, где меня никто не ждал. На аэродроме мне хотелось назвать шоферу любой другой адрес, только не улицу Катина. Я раздумывал: «Стала боль хоть чуточку меньше, чем когда я уезжал?» И старался убедить себя, что она стала меньше. Я поднялся к себе на площадку, увидел, что дверь открыта, и от безрассудной надежды у меня перехватило дыхание. Я медленно пошел к двери. Покуда я до нее не дойду, надежда еще будет жить. Я услышал, как скрипнул стул и, подойдя, увидел чьи-то ботинки, но ботинки были не женские. Я быстро вошел, и Пайл поднял свое неуклюжее тело со стула, на котором обычно сидела Фуонг.

— Привет, Томас, — сказал он.

— Привет, Пайл. Как вы сюда попали?

— Встретил Домингеса. Он нес вам почту. Я попросил разрешения вас подождать.

— Разве Фуонг что-нибудь здесь забыла?

— О, нет, но Джо сказал мне, что вы приходили в миссию. Я решил, что нам удобнее поговорить с вами здесь.

— О чем?

Он растерянно махнул рукой, как мальчик, который, произнося речь на школьном торжестве, никак не может подобрать взрослых слов.

— Вы уезжали?

— Да. А вы?

— О, я много поездил по здешним местам.

— Все еще забавляетесь игрушками из пластмассы?

Он болезненно осклабился:

— Ваша почта лежит там.

Кинув взгляд на письма, я увидел, что ни одно из них не представляет для меня интереса: ни письмо из лондонской редакции, ни несколько счетов, ни извещение банка.

— Как Фуонг? — спросил я.

Лицо его автоматически осветилось, как электрическая игрушка, которую приводит в действие какой-нибудь звук.

— О, Фуонг чувствует себя прекрасно, — сказал он и сразу же прикусил язык, словно о чем-то проговорился.

— Садитесь, Пайл, — сказал я. — Минутку, я только пробегу это письмо. Оно из редакции.

Я распечатал письмо. Как некстати порою случается то, чего ты не ждешь. Редактор писал, что, обдумав мое последнее письмо и учитывая

сложную обстановку в Индокитае после смерти генерала де Латтра и отступления от Хоа-Биня, он не может не согласиться с моими доводами. И, назначая временного редактора иностранного отдела, он хочет, чтобы я остался в Индокитае по меньшей мере еще год. «Мы сохраним для вас ваше место...» — заверял он меня с полным непониманием того, что со мной происходит. Он думал, что я дорожу и должностью, и газетой.

Я уселся напротив Пайла и перечел письмо, которое пришло слишком поздно. На секунду я почувствовал радостное волнение: так бывает, когда проснешься, еще ничего не помня.

— Дурные вести? — спросил Пайл.

— Нет. — Я утешал себя, что все равно это ничего бы не изменило: оттяжка на год не идет в сравнение с брачным договором на всю жизнь.

— Вы еще не женаты? — спросил я.

— Нет. — Он покраснел: ему ничего не стоило краснеть. — Если говорить правду, я надеюсь получить отпуск. Тогда мы сможем пожениться дома. Так приличнее.

— Разве приличнее, когда это делают дома?

— Ну да, мне казалось... Мне очень трудно с вами разговаривать о таких вещах, Томас, вы ведь — страшный циник! Понимаете, дома - это

куда уважительнее. Там папа и мама, — она сразу войдет в семью. Для Фуонг это важно из-за ее прошлого.

— Прошлого?

— Вы отлично понимаете, о чем я говорю. Мне не хотелось бы оставить ее там с клеймом…

— Вы собираетесь ее там оставить?

— Видимо, да. Моя мать — необыкновенная женщина, — она введет ее в общество, представит, понимаете?.. Вообще, поможет ей освоиться. И наладить дом к моему приезду.

Я не знал, жалеть мне Фуонг или нет, ей ведь так хотелось поглядеть на небоскребы и на статую Свободы, но она себе не представляла, чем ей за это придется платить: профессор и его супруга, дамские клубы… Может, ее обучат играть в канасту[44]. Я вспомнил ту первую ночь в «Гран монд»: на ней было белое платье, ей было восемнадцать лет, и она так пленительно двигалась по залу; я вспомнил, какой она была еще месяц назад, когда торговалась в мясных лавках на бульваре де ла Сомм. Придутся ли ей по душе начищенные до блеска продовольственные магазинчики Новой Англии, где даже сельдерей обернут в целлофа-

---

44 notes: 44
модная в США карточная игра

новую бумажку? Может, они ей и понравятся. Не знаю. Странно, но я вдруг сказал Пайлу то, что месяц назад мог сказать мне Пайл:

— Будьте с ней помягче, Пайл. Не насилуйте ее. Ее ведь нельзя обижать: она — не вы и не я.

— Не беспокойтесь, Томас.

— Она кажется такой маленькой, хрупкой и такой непохожей на наших женщин, но не вздумайте относиться к ней, как… к побрякушке.

— Удивительно, Томас, как все оборачивается! Я с дрожью ждал этого разговора. Боялся, что вы будете вести себя по-хамски.

— На Севере у меня было время подумать. Я там встретил женщину… Должно быть, и я вдруг понял то, что поняли вы тогда в публичном доме. Хорошо, что Фуонг ушла к вам. Рано или поздно я мог ее оставить кому-нибудь вроде Гренджера. Как сношенную юбку.

— И мы по-прежнему будем друзьями, Томас?

— Да, конечно. Но я не хочу видеть Фуонг. Ее и без того здесь слишком много. Я непременно найду другую квартиру… когда у меня будет время.

Он распрямил длинные ноги и встал.

— Я так рад, Томас. Прямо и сказать не могу, как я рад. Я уж вам говорил, но, ей-богу, мне было бы куда приятнее, если бы на вашем месте был

другой.

— А я рад, что это именно вы, Пайл.

Разговор пошел совсем не так, как я ожидал. Где-то глубоко, под спудом злых мыслей, зрело настоящее решение. И хотя меня раздражала его простота, кто-то внутри, сравнив его идеализм, его незрелые взгляды, почерпнутые в трудах Йорка Гардинга, с моим цинизмом, вынес приговор в его пользу. Ну да, я был прав, если взять в расчет факты, но не было ли у него права быть молодым и ошибаться и не лучше ли было девушке провести свою жизнь с таким, как он?

Мы торопливо пожали друг другу руки, но какой-то неосознанный страх заставил меня проводить его до лестницы и крикнуть ему вдогонку (может, там, у нас в душе, в том судилище, где принимаются самые верные решения, заседает не только судья, но и пророк):

— Пайл, не слишком-то доверяйте Йорку Гардингу!

— Йорку? — Он в недоумении уставился на меня с нижней площадки.

— Мы старые колониальные народы, Пайл, но мы кое-чему научились: мы научились не играть с огнем. Ваша «третья сила» — это книжная выдумка, а генерал Тхе — всего лишь бандит, у

которого несколько тысяч наемников. При чем тут национальная демократия?

Он смотрел на меня так, словно подглядывал в щель почтового ящика, чтобы узнать, кто стоит за дверью, и, быстро прикрыв ее, отгородиться от нежеланного посетителя. Пайл отвел глаза.

— Не понимаю, о чем вы говорите, Томас.

— О велосипедных бомбах. Шутка забавная, хотя кое-кто и остался без ног. Но, Пайл, нельзя доверять таким людям, как Тхе. Они не спасут Востока от коммунизма. Мы знаем им цену.

— Мы?

— Старые колониалисты.

— А я думал, что вы не желаете становиться на чью-либо сторону.

— Я и не становлюсь, но если ваши непременно хотят заварить здесь кашу, предоставьте это Джо. Уезжайте домой с Фуонг. Забудьте о «третьей силе».

— Я очень ценю ваши советы, Томас, — произнес он чопорным тоном. — Привет. Скоро увидимся.

— Не сомневаюсь.

Недели шли, а я так и не нашел новой квартиры. И не потому, что у меня не было времени. Ежегодный перелом в войне снова произошел;

на Севере установилась жаркая, влажная погода, французы ушли из Хоа-Биня, битва за рис окончилась в Тонкине, а битва за опиум — в Лаосе. Домингес мог один легко справиться со всем, что творилось на Юге, Наконец, я все же заставил себя посмотреть квартиру в так называемом современном доме (времен Парижской выставки 1934 года?) в другом конце улицы Катина, за отелем «Континенталь». Это была типичная для Сайгона холостяцкая квартира каучукового плантатора, который уезжал на родину. Он хотел продать ее валом, со всем имуществом, которое состояло из множества гравюр Парижских салонов с 1880 по 1900 год. Все эти гравюры роднило друг с другом изображение большегрудой дамы с необыкновенной прической, в прозрачных покрывалах, которые всегда обнажали огромные ягодицы в ямочках, но все же заменяли фиговый лист. В ванной комнате плантатор, совсем осмелев, повесил репродукции Ропса.

— Вы любите искусство? — спросил я, и он ухмыльнулся мне в ответ, как сообщнику. Это был жирный господин с черными усиками и скудной растительностью на черепе.

— Мои лучшие картины — в Париже, — сказал он.

Гостиную украшали необычно высокая пепельница, изображавшая голую женщину с горшком в волосах, и фарфоровые безделушки в виде голых девушек, обнимающих тигров; одна статуэтка была совсем странная: раздетая до пояса девушка ехала на велосипеде. В спальне, против гигантской кровати, висела большая картина маслом, — на ней были изображены две спящие девушки. Я просил назвать цену за квартиру без коллекции, но он не пожелал разлучать их друг с другом.

— Вы, значит, не коллекционер? — спросил он.

— Пожалуй, нет.

— У меня есть и книги тоже, — сказал он, — могу отдать и их за ту же цену, хоть я и собирался увезти их во Францию. — Отперев книжный шкаф со стеклянной дверцей, он показал мне свою библиотеку; дорогие иллюстрированные издания «Афродиты» и «Нана», «Холостячку» и даже несколько романов Поль де Кока. Меня так и подмывало его спросить, не желает ли он включить и себя в свою коллекцию: он к ней так подходил и был так же старомоден.

— Когда живешь один в тропиках, коллекция заменяет тебе общество, — сказал он.

Я подумал о Фуонг потому, что ее здесь ничто

не напоминало. Так всегда бывает: убежишь в пустыню, а тишина кричит тебе в уши.

— Боюсь, моя газета не разрешит мне купить коллекцию произведений искусства.

— Пусть вас это не смущает: мы ее в счет не поставим.

Я был рад, что Пайл его не видит: этот человек мог бы послужить прообразом его излюбленному и довольно противному «старому колониалисту». Когда я вышел, было почти половина двенадцатого, и я отправился в «Павильон», чтобы выпить стакан ледяного пива. «Павильон» был местом, где пили кофе европейские и американские дамы, и я был уверен, что не встречу Фуонг. Я знал, где она бывает в это время, — Фуонг была не из тех, кто меняет свои привычки, поэтому, выйдя из квартиры плантатора, я пересек дорогу, чтобы обойти стороной кафе-молочную, где она сейчас пьет холодный шоколад.

За соседним столиком сидели две американочки, — свеженькие и чистенькие, несмотря на жару, — и ложечками загребали мороженое. У обеих через левое плечо висели сумки, и сумки были одинаковые, с медными бляхами в виде орла. И ноги у них тоже были одинаковые — длинные, стройные, и носы — чуточку вздернутые, и

ели они свое мороженое самозабвенно, словно производили какой-то опыт в университетской лаборатории. Я подумал, не сослуживицы ли это Пайла, — они были прелестны, и мне их тоже захотелось отправить домой, в Америку. Они доели мороженое, и одна из них взглянула на часы.

— Лучше, пожалуй, пойдем. Не стоит рисковать, — сказала она.

Я раздумывал, куда они торопятся.

— Уоррен предупредил, что нам лучше уйти не позже двадцати пяти минут двенадцатого.

— Сейчас уже больше.

— Интересно бы остаться, правда? Понятия не имею, в чем дело, а ты?

— Да и я толком не знаю, но Уоррен предупредил, что нам лучше уйти.

— Как по-твоему, будет демонстрация?

— Господи, столько я их насмотрелась! — протянула вторая тоном туриста, осатаневшего от вида церквей. Она встала и положила на стол деньги за мороженое. Выходя, она оглядела кафе, и зеркала отразили ее лицо в каждом из его покрытых веснушками ракурсов. Остались сидеть только я да неказисто одетая пожилая француженка, которая старательно и безуспешно наводила красоту. Тем двоим не нужен был грим: быстро

мазнуть губной помадой, провести гребнем по волосам, — вот и все. На миг взгляд одной из них задержался на мне, — взгляд не женский, прямой, оценивающий. Но она тут же обернулась к своей спутнице.

— Давай-ка пойдем поскорей.

Я лениво следил за тем, как они рядышком шли по исполосованной солнцем улице. Ни одну из них нельзя было вообразить себе жертвой необузданных страстей, — с ними никак не вязалось представление об измятых простынях и о теле, влажном от любовного пыла. Они, наверно, и в постель брали с собой патентованное средство от пота. Я чуть-чуть позавидовал им и тому стерилизованному миру, где они обитали, так не похожему на мир, где жил я…

…и который вдруг раскололся на части.

Два зеркала из тех, что украшали стены, полетели в меня и грохнулись на полдороге. Невзрачная француженка стояла на коленях среди обломков столов и стульев. Ее открытая пудреница лежала у меня на коленях. Она была цела, и, как ни странно, сам я сидел там же, где сидел раньше, хотя обломки моего столика лежали рядом с француженкой. Странные звуки наполняли кафе; казалось, что ты в саду, где журчит фонтан;

взглянув на бар, я увидел ряды разбитых бутылок, откуда радужным потоком лилось содержимое на пол кафе: красным — портвейна, оранжевым — куэнтро, зеленью — шартреза, мутно-желтым — пастиса… Француженка приподнялась с колен, села и спокойно поискала взглядом пудреницу. Я ее отдал, и она вежливо меня поблагодарила, все так же сидя на полу. Я заметил, что плохо ее слышу. Взрыв произошел так близко, что мои перепонки еще не оправились от воздушной волны.

Я подумал с обидой: «Снова игра в пластмассовые игрушки. Что бы мистер Хен предложил написать мне на этот раз?» Но когда я вышел на площадь Гарнье, я увидел по густым клубам дыма, что это совсем не игра. Дым шел от машин, горевших на стоянке перед театром, обломки были разбросаны по всей площади, и человек без ног дергался у края клумбы.

С улицы Катина и с бульвара Боннар стекались люди. Сирены полицейских машин, звонки санитарных и пожарных автомобилей разом ударили по моим оглушенным перепонкам. На миг я забыл о том, что Фуонг в это время находится в молочной напротив. Нас разделял густой дым. Сквозь него я ничего не видел.

Я шагнул на мостовую, но меня задержал один из полицейских. Они оцепили всю площадь, чтобы не скапливалась толпа, и оттуда уже тащили носилки. Я умолял:

— Пропустите меня на ту сторону. Там у меня друг…

— Отойдите, — сказал он. — У всех здесь друзья.

Он посторонился, чтобы пропустить священника, и я бросился за ним, но полицейский оттолкнул меня назад. Я говорил ему, что я — представитель прессы, и тщетно шарил по карманам в поисках бумажника, где лежало мое удостоверение, — неужели я забыл его дома?

— Скажите, по крайней мере, как там в молочной? — Дым рассеивался, я вглядывался в него, но толпа впереди была слишком густа. Полицейский пробормотал что-то невнятное.

— Что вы сказали?

Он повторил:

— Не знаю. Отойдите. Вы загораживаете дорогу носилкам.

Неужели я обронил бумажник в «Павильоне»? Я повернулся, чтобы туда сходить, и столкнулся с Пайлом. Он воскликнул:

— Томас!

— Пайл, — сказал я, — ради всего святого, где ваш посольский пропуск? Пойдемте на ту сторону. Там, в молочной, Фуонг.

— Ее там нет, — сказал он.

— Пайл, она там. Она всегда там бывает в половине двенадцатого. Надо ее найти.

— Ее там нет, Томас.

— Почем вы знаете? Где ваш пропуск?

— Я предупредил ее, чтобы она туда не ходила.

Я снова повернулся к полицейскому, собираясь оттолкнуть его и кинуться бегом через площадь; пусть стреляет, черт с ним… но вдруг слово «предупредил» дошло до моего сознания.

Я схватил Пайла за руку.

— Предупредил? Как это «предупредил»?

— Я сказал ей, чтобы сегодня утром она держалась отсюда подальше.

Части головоломки стали на свои места.

— А Уоррен? — спросил я. — Кто такой Уоррен? Он тоже предупредил этих девушек.

— Не понимаю.

— Ах, вот в чем дело! Лишь бы не пострадали американцы!

Санитарная машина пробилась на площадь с улицы Катина, и полицейский, который меня не пускал, отошел в сторонку, чтобы дать ей дорогу.

Другой полицейский, рядом, был занят каким-то спором. Я толкнул Пайла вперед, прямо в сквер, прежде чем нас могли остановить.

Мы попали в братство плакальщиков. Полиция могла помешать новым людям выйти на площадь, но была бессильна очистить ее от тех, кто выжил и кто уже успел пройти. Врачи были слишком заняты, чтобы хлопотать о мертвецах, и мертвые были предоставлены своим владельцам, ибо и мертвецом можно владеть, как всякой движимостью. Женщина сидела на земле, положив себе на колени то, что осталось от ее младенца: душевная деликатность вынудила ее прикрыть ребенка соломенной крестьянской шляпой. Она была нема и неподвижна, — больше всего поражала меня здесь тишина. Тут было тихо, как в церкви, куда я как-то вошел во время обедни, — слышно было только тех, кто служит, — разве что заплачет, взмолится и опять смолкнет какой-нибудь европеец, устыженный скромностью, терпением и внутренним благородством Востока. Безногий обрубок около клумбы все еще дергался, словно только что зарезанная курица. Судя по рубашке, он был когда-то рикшей.

Пайл воскликнул:

— Господи! Какой ужас!

Он поглядел на забрызганный ботинок и спросил жалким голосом:

— Что это?

— Кровь, — сказал я. — Неужели вы никогда не видели крови?

— Придется дать их почистить, перед тем как идти к посланнику.

Он, по-моему, не понимал, что говорит. Первый раз в жизни он увидел, что такое война; он приплыл в Фат-Дьем в каком-то мальчишеском угаре, да и там ведь были солдаты, а они не в счет!

— Видите, что может наделать одни бочонок диолактона, — сказал я, — если попадет в плохие руки! — Я толкнул его в плечо и заставил оглянуться вокруг. — В это время площадь всегда полна женщин с детьми — они приходят сюда за покупками. Почему выбрали именно этот час?

Он ответил не очень уверенно:

— Сегодня должен был состояться парад…

— И вы хотели ухлопать парочку полковников? Но парад был вчера отменен.

— Я этого не знал.

— Не знал! — Я толкнул его в лужу крови, где только что лежали носилки.

— Надо было справиться!

— Меня не было в городе, — сказал он, не сводя

глаз со своих ботинок. — Они должны были все это отложить!

— И не потешиться? Думаете, генерал Тхе отказался бы от своей диверсии? Она куда выигрышнее парада! Женщины и дети — вот это сенсация! Кому интересны солдаты, когда все равно идет война? О том, что произошло, будет кричать вся мировая пресса. Вы создали генералу Тхе имя, Пайл. Поглядите, вон ваша «третья сила» и «национальная демократия» — они у вас на правом ботинке! Ступайте домой, к Фуонг, и расскажите о вашем подвиге, — у нее теперь стало меньше соотечественников, о которых надо горевать.

Мимо нас вприпрыжку пробежал низенький толстый священник, неся что-то на блюде, прикрытом салфеткой. Пайл долго молчал, да и мне больше нечего было сказать. Я и так сказал слишком много. Он был бледен и близок к обмороку, а я подумал: «Зачем я все это говорю? Ведь он же дурачок и дурачком останется. Разве можно в чем-нибудь винить дурачков? Они всегда безгрешны. Остается либо держать их в узде, либо уничтожать. Глупость — это ведь род безумия».

— Тхе бы этого не сделал, — сказал Пайл. — Я уверен, что он бы этого не сделал. Кто-то его об-

манул. Коммунисты…

Он был покрыт непроницаемой броней благих намерений и невежества. Я так и оставил его на площади и пошел вверх по улице Катина, в ту сторону, где ее перегораживал безобразный розовый собор. Туда уже устремлялись толпы людей; им, видно, хотелось утешиться, помолившись мертвым о своих мертвецах.

В отличие от них мне было за что вознести благодарность богу: разве Фуонг не была жива? Разве Фуонг не «предупредили»? Но перед глазами у меня было изуродованное туловище в сквере, ребенок на коленях у матери. Их не предупредили, они не стоили того. А если бы парад состоялся, разве они все равно не пришли бы сюда из любопытства, чтобы поглазеть на солдат, послушать речи, бросить цветы? Стокилограммовая бомба не разбирает. Сколько мертвых полковников стоят смерти одного ребенка или рикши, когда вы создаете национально-демократический фронт?

Я остановил моторикшу и попросил свезти меня на набережную Митхо.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Мне нужно было вечером избавиться от Фуонг; я дал ей денег, и они с сестрой пошли в кино. Я поужинал с Домингесом и, вернувшись, стал ждать Виго; он пришел ровно в десять. Виго извинился, что не может ничего пить: он очень устал и, если выпьет, то сразу же захочет спать. День для него сегодня выдался очень утомительный.

— Убийства? Несчастные случаи?

— Нет. Мелкие кражи. И несколько самоубийств. Здешние люди азартны, а проиграв все, что у них есть, кончают самоубийством. Знай я, сколько времени мне придется торчать в моргах, ни за что бы не стал полицейским. Терпеть не могу запах нашатыря. Не выпить ли все-таки пива?

— Увы! У меня нет холодильника.

— Не то что в морге. Тогда капельку английского виски.

Я вспомнил ту ночь, когда мы спустились с ним в морг и нам выкатили из холодильника труп Пайла, как поднос с кубиками льда.

— Значит, вы не едете в Англию? — спросил он.

— А вы наводили справки?

— Да.

Я протянул ему стакан виски твердой рукой, чтобы он видел, как крепки мои нервы.

— Виго, объясните, почему вы подозреваете, что я замешан в убийстве Пайла? Разве у меня были мотивы? Вы думаете, я хотел вернуть Фуонг? Или мстил за то, что ее потерял?

— Нет. Я не так глуп. Люди не берут на память книг у своих врагов. Вон она у вас на полке. «Миссия Запада». Кто такой Йорк Гардинг?

— Это тот, кого вы ищете, Виго. Он убил Пайла: с дальнего прицела.

— Не понимаю.

— Он газетчик высшего ранга, — их называют дипломатическими обозревателями. Выдумав теорию, он насильно подгоняет под нее факты. Пайл приехал сюда, обуреваемый идеями Йорка Гардинга. Тот как-то раз забрел сюда на недельку, по пути из Бангкока в Токио. Пайл сделал ошибку, претворив его идею на практике. Гардинг писал о «третьей силе». Пайл нашел эту силу: мелкого, дрянного бандита с двумя тысячами солдат и парочкой ручных тигров. Он вмешался не в свое дело.

— А с вами этого никогда не случается?

— Стараюсь, чтобы не случалось.

— Но вам это не удается, Фаулер.

Почему-то я вспомнил капитана Труэна и ту ночь в хайфонской курильне опиума, — с тех пор, казалось, прошли целые годы, как он тогда сказал? «Стоит поддаться чувству, и все мы рано или поздно становимся на чью-нибудь сторону».

— Из вас, Виго, вышел бы хороший священник. В вас что-то есть: перед вами легко исповедоваться, если человеку надо в чем-то сознаться.

— Меня никогда не влекла роль исповедника.

— Но вы все-таки выслушивали признания?

— Время от времени.

— Потому, вероятно, что ваша профессия, как и профессия священника, приучала вас не ужасаться, а сочувствовать. «Господин Шпик, я должен рассказать вам откровенно, почему я вышиб мозги у этой старой дамы». «Конечно, Гюстав, не смущайся и выкладывай все начистоту».

— У вас иронический склад ума. Почему вы не пьете, Фаулер?

— Разве преступнику не опасно пить с полицейским чином?

— Я не говорю, что вы преступник.

— А вдруг алкоголь пробудит во мне желание покаяться? Ведь в вашей профессии не принято соблюдать тайну исповеди?

— Но человеку, который кается, тайна совсем ни к чему, даже когда он открывает душу священнику. У него другие побуждения.

— Очиститься?

— Не всегда. Иногда ему хочется посмотреть на себя со стороны. Иногда он просто устает от вранья. Вы не преступник, Фаулер, но я хотел бы знать, почему вы мне солгали. Вы ведь видели Пайла в ту ночь, когда он был убит.

— Почему вы так думаете?

— Я ни минуты не подозревал, что вы его убили. Вряд ли вы стали бы пользоваться для этой цели ржавым штыком.

— Ржавым?

— Такие подробности узнаешь при вскрытии. Но я вам уже говорил: причина смерти не штык, а тина Дакоу. — Он протянул мне стакан, чтобы я налил ему еще виски. — Давайте вспомним. Вы ведь пили с ним в баре «Континенталь». Было десять минут седьмого, если я не ошибаюсь?

— Да.

— А без четверти семь вы разговаривали с каким-то журналистом у входа в «Мажестик»?

— Да, с Уилкинсом. Я вам уже говорил. Тогда же ночью.

— Да. Я это проверил. Удивительно, как вы

помните все до мельчайших подробностей.

— Я ведь репортер, Виго.

— Может быть, время и не совсем совпадает, но кто же вас станет винить, если вы и урвали четверть часика в одном месте или минут десять в другом? У вас не было оснований предполагать, что минуты будут играть такую роль. Наоборот, было бы подозрительно, если бы вы оказались уж очень точны.

— А разве я был неточен?

— Не совсем. Вы разговаривали с Уилкинсом без пяти семь.

— Десять минут разницы.

— Конечно. Я же говорю. И часы били ровно шесть, когда вы прибыли в «Континенталь».

— Мои часы всегда немножко спешат, — сказал я. — Который час на ваших?

— Восемь минут одиннадцатого.

— А на моих восемнадцать. Видите?

Он не дал себе труда поглядеть и сказал:

— В таком случае время, когда, по вашим словам, вы разговаривали с Уилкинсом, не сходится на двадцать пять минут. По вашим часам. А это уже серьезная ошибка, не правда ли?

— Может, я мысленно скорректировал время. Может, в тот день передвинул стрелки. Иногда

я это делаю.

— Вот что интересно… — сказал Виго. — Подлейте мне немножко содовой; вы сделали смесь слишком крепкой… Интересно, что вы на меня совсем не сердитесь. А ведь не очень приятно, когда вас допрашивают.

— Меня это увлекает, как детективный роман. Да в конце концов вы же знаете, что я не убивал Пайла. Вы сами это сказали.

— Я знаю, вы не присутствовали при его убийстве.

— Не понимаю, для чего вам нужно доказать, будто я был на десять минут позже тут и на пять там?

— Это дает вам запас времени, — сказал Виго. — Свободный промежуток.

— Свободный для чего?

— Для того, чтобы Пайл мог к вам прийти.

— Почему вам надо во что бы то ни стало это доказать?

— Из-за собаки, — сказал Виго.

— А тина у нее на лапах?

— На лапах не было тины. Был цемент. Видите ли, в ту ночь, когда собака шла за Пайлом, она ступила где-то в жидкий цемент. Я вспомнил, что в нижнем этаже вашего дома работают камен-

щики, — они здесь и сейчас. Я прошел мимо них, когда поднимался к вам. Они допоздна работают в этом городе.

— Мало ли где в этом городе вы найдете каменщиков и жидкий цемент. Разве кто-нибудь из них заметил собаку?

— Конечно, я их об этом спросил. Но если бы они даже ее и заметили, они бы мне все равно не сказали: я ведь из полиции. — Он замолчал и откинулся на спинку стула, пристально разглядывая свой стакан. Казалось, он вдруг увидел какую-то тайную связь событий и мысленно был далеко отсюда. По тыльной стороне его руки ползла муха, но он ее не отгонял, — совсем как Домингес. Я ощущал в нем какую-то силу — подспудную и непоколебимую… Кто его знает: может быть, он даже молился.

Я встал и, раздвинув занавески, прошел в спальню. Мне ничего там не было нужно, — хотелось хоть на минуту уйти от этой молчаливой фигуры. Книжки с картинками снова лежали на полке. Фуонг воткнула между баночками с кремом телеграмму, — какое-нибудь сообщение из редакции в Лондоне. У меня не было настроения ее распечатывать. Все было так, как до появления Пайла. Комнаты не меняются, безделушки стоят там, где

их оставили; только сердце дряхлеет.

Я вернулся в гостиную, и Виго поднес стакан к губам.

— Мне нечего вам сказать, — заявил я. — Абсолютно нечего.

— Тогда я пойду, — поднялся он. — Думаю, что мне не придется вас больше беспокоить.

У дверей он обернулся, словно ему не хотелось прощаться с надеждой, — со своей надеждой или с моей.

— Странный фильм вы смотрели в ту ночь. Вот не подумал бы, что вам нравятся исторические картины. Что это было? «Робин Гуд»?

— Кажется, «Скарамуш». Надо было убить время. И отвлечься.

— Отвлечься?

— У всех у нас, Виго, есть свои неприятности, — сдержанно пояснил я ему.

Когда Виго ушел, мне оставалось ждать еще час появления какого-нибудь живого существа: пока Фуонг не придет из кино. Поразительно, как меня взволновало посещение Виго. У меня было чувство, будто какой-то поэт принес мне свои стихи на суд, а я по небрежности их уничтожил. Сам я был человеком без призвания, — нельзя ведь считать газетную работу призванием, — но

я мог угадать призвание в другом. Теперь, когда Виго ушел, чтобы сдать в архив свое незаконченное следственное дело, я жалел, что у меня не хватило мужества вернуть его и сказать:

«Вы правы. Я видел Пайла в ту ночь, когда его убили».

2

По дороге к набережной Митхо я встретил несколько санитарных машин, направлявшихся из Шолона к площади Гарнье. Слухи разносятся быстро; об этом можно было догадаться по лицам прохожих: они с недоумением оборачивались на тех, кто, как я, ехал со стороны площади. Но когда я достиг Шолона, я уже обогнал слухи: жизнь там была оживленной, привычной, еще ничем не нарушенной, — люди пока не знали.

Я разыскал склад мистера Чжоу и поднялся к нему домой. Со времени моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Кошка и собака перепрыгивали с пола на картонки, а оттуда на чемодан, как шахматные кони, которые никак не могут сразиться друг с другом. Младенец ползал по полу, а два старика все еще играли в маджонг. Недоставало только молодежи. Едва я появился в дверях, как одна из женщин принялась наливать мне чай. Старая дама сидела на кровати и разглядывала свои ноги.

— Мсье Хена, — попросил я. Покачав головой, я отказался от чая: у меня не было настроения снова затевать это долгое и горькое чаепитие.

— Il faut absolument que je vois M.Heng[45]. — Я не мог объяснить им, как срочно мне нужно видеть мсье Хена, но, кажется, решительность, с которой я отказался от чая, вызвала в них какое-то беспокойство. А может, как и у Пайла, у меня была кровь на ботинках. Во всяком случае, одна из женщин повела меня вниз по лестнице, а потом вдоль двух людных, увешанных китайскими вывесками улиц, к дверям лавки, которую на родине у Пайла назвали бы «салоном похоронных процессий». Лавчонка была загромождена каменными урнами для праха китайских покойников.

— Где мсье Хен? — спросил я у старика китайца в дверях. — Мсье Хен.

То, что я здесь видел, достойно завершало этот день, который начался с осмотра эротической коллекции плантатора и продолжался среди мертвецов на площади. Кто-то подал голос из задней комнаты, китаец посторонился и пропустил меня внутрь.

Сам Хен любезно вышел навстречу и провел меня в маленькую комнатушку, уставленную по стенам резными черными стульями, которые стоят в каждой китайской приемной, — необжи-

---

45 notes: 45
мне непременно надо повидать мсье Хена (фр.)

тые, неудобные. Но у меня было подозрение, что на этот раз на стульях сидели, так как на столе еще стояли чайные чашечки и две из них были недопиты.

— Я помешал какому-то собранию, — сказал я.

— Деловая встреча, — уклончиво отозвался мистер Хен. — Пустяки. Я всегда рад вас видеть, мистер Фаулер.

— Я пришел к вам с площади Гарнье.

— Так я и думал.

— Вы слышали…

— Мне позвонили по телефону. Говорят, что покуда мне лучше держаться подальше от мистера Чжоу. Полиция сегодня будет вести себя очень деятельно.

— Но вы же тут совсем ни при чем.

— Полиция обязана найти виновника.

— Это все тот же Пайл, — сказал я.

— Да.

— Он сделал страшную вещь.

— У генерала Тхе такой несдержанный характер.

— Пластмасса — опасная игрушка для мальчиков из Бостона. Кто начальник Пайла, Хен?

— Мне кажется, что мистер Пайл в значительной мере действует на свой страх и риск.

— А кто он такой? ОСС?[46]

— Начальные буквы не играют большой роли.

— Что мне делать, Хен? Его надо унять.

— Напишите правду. Но, может быть, это трудно?

— Моя газета не интересуется генералом Тхе. Она интересуется только такими, как вы, Хен.

— Вы в самом деле хотите унять мистера Пайла?

— Вы бы только его видели, Хен! Он стоял и объяснял мне, что это досадная ошибка, что там должен был быть парад. Он сказал, что прежде чем идти к посланнику, ему надо почистить ботинки…

— Конечно, вы могли бы рассказать все это полиции.

— Она тоже не интересуется Тхе. Разве она посмеет тронуть американца? Он пользуется дипломатической неприкосновенностью. Окончил Гарвард. Посланник очень им дорожит. Хен, понимаете, там была женщина… Ее ребенок… Она-прикрыла его своей соломенной шляпой. Не могу забыть. И еще другой ребенок, в Фат-Дьеме…

---

46 notes: 46

Отдел стратегической службы — американская военная разведка

— Успокойтесь, мистер Фаулер.

— Что еще взбредет ему в голову, Хен? Сколько бомб и сколько мертвых детей можно получить из одной бочки диолактона?

— Вы согласны помочь нам, мистер Фаулер?

— Он сослепу вламывается в чужую жизнь, и люди умирают из-за его глупости. Жаль, что ваши не прикончили его на реке, когда он плыл из Нам-Диня. Судьба многих людей была бы совсем другой.

— Я с вами согласен, мистер Фаулер. Его необходимо унять. У меня есть предложение. — Кто-то осторожно кашлянул за дверью, а потом шумно сплюнул.

— Не могли бы вы пригласить его сегодня вечером поужинать во «Вье мулен»? Между половиной девятого и половиной десятого…

— Зачем?..

— Мы с ним побеседуем по дороге, — сказал Хен.

— А если он будет занят?

— Пожалуй, лучше, если вы попросите его зайти к вам, скажем, в шесть тридцать. Он в это время свободен и несомненно придет. Если он согласится с вами поужинать, подойдите к окну с книжкой, словно вам темно.

— Почему именно во «Вье мулен»?

— «Вье мулен» стоит у моста в Дакоу; надеюсь, мы там найдем местечко, чтобы поговорить без помехи.

— Что вы с ним сделаете?

— Вы ведь не хотите этого знать, мистер Фаулер. Обещаю вам, мы поступим с ним так деликатно, как позволят обстоятельства. — Невидимые друзья Хена зашевелились за стеной, как мыши. — Вы поможете нам, мистер Фаулер?

— Не знаю, — сказал я. — Не знаю.

— Рано или поздно, — объяснил мне Хен, и я вспомнил слова капитана Труэна, сказанные им в курильне опиума, — рано или поздно человеку приходится встать на чью-нибудь сторону. Если он хочет остаться человеком.

Я оставил Пайлу записку в посольстве с просьбой прийти, а потом зашел в «Континенталь» выпить. Обломки были убраны; пожарная команда полила площадь из шлангов. Мне тогда и в голову не приходило, какую важную роль будут играть в моей жизни каждая минута, каждое мое движение. Я даже подумывал, не провести ли мне в баре весь вечер, отказавшись от назначенного свидания. Потом я решил припугнуть Пайла, что ему грозит опасность, — какова бы ни

была эта опасность, — и заставить его отказаться от своей деятельности; поэтому, допив пиво, я пошел домой, а дома стал надеяться, что Пайл не придет. Я попытался читать, но на полке не было ничего, что могло бы меня увлечь. Мне, наверно, следовало покурить, но некому было приготовить трубку. Я невольно прислушивался к звуку шагов и наконец их услышал. В дверь постучали. Я открыл, но это был Домингес.

— Что вам нужно, Домингес?

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Мне? — Домингес взглянул на часы. — Я всегда прихожу в это время. Телеграммы готовы?

— Простите… совсем забыл. Нет.

— А репортаж о бомбах? Неужели вы ничего не хотите сообщить?

— Составьте телеграмму сами. Я там был и не знаю, что со мной случилось, я словно контужен. Мне трудно думать об этом телеграфным языком. — Я щелкнул комара, зудевшего у меня над ухом, и заметил, что Домингес вздрогнул. — Не волнуйтесь, я его не убил. — Домингес болезненно усмехнулся. Ему трудно было объяснить свое отвращение к убийству, — в конце концов, он ведь был христианин, один из тех, кто научился у Нерона превращать живых людей в свечки.

— Вам ничего не нужно? — спросил он. Он не пил, не ел мяса, не убивал. Я завидовал кротости его духа.

— Нет, Домингес. Дайте мне сегодня побыть одному. — Я следил из окна за тем, как он пересекает улицу Катина. У тротуара, как раз под моим окном, остановился велорикша; Домингес хотел его нанять, но рикша покачал головой. Он, видно, поджидал седока, который зашел в одну из лавок: на этом углу не было стоянки. Взглянув на часы, я с удивлением увидел, что прошло всего каких-нибудь десять минут, но когда Пайл постучал, я понял, что не слышал его шагов.

— Войдите. — Но, как всегда, первой вошла собака.

— Я обрадовался, получив вашу записку, Томас. Утром мне показалось, что вы на меня рассердились.

— Верно. Зрелище было не из приятных.

— Вы и так все знаете, мне нечего от вас скрывать. Я видел Тхе.

— Вы его видели? Разве он в Сайгоне? Приехал посмотреть, как сработала его бомба?

— Это строго между нами, Томас. Я говорил с ним очень сурово.

У него был вид капитана школьной команды,

который узнал, что один из мальчишек нарушил правила игры. И все же я спросил его с некоторой надеждой:

— Вы с ним порвали?

— Я сказал, что если он еще раз позволит себе неуместную диверсию, мы с ним порвем.

— Значит, вы с ним еще не порвали? — Я нетерпеливо оттолкнул его собаку, которая обнюхивала мои щиколотки.

— Я не мог. Если думать о будущем, он — наша единственная надежда. Когда, с нашей помощью, он придет к власти, мы сможем на него опереться…

— Сколько людей должно умереть, прежде чем вы что-нибудь поймете?.. — Но я видел, что спор наш совершенно бесплоден.

— Что мы должны понять, Томас?

— В политике не бывает такой вещи, как благодарность.

— Они хотя бы не будут нас ненавидеть так, как французов.

— Вы в этом уверены? Иногда мы питаем нечто вроде любви к нашим врагам и ненавидим наших друзей.

— Вы рассуждаете, как типичный европеец, Томас, Эти люди совсем не так сложны.

— Ах, вот чему вы научились за эти несколько месяцев! Подождите, скоро вы будете звать их детьми.

— Ну да… в некотором роде.

— Покажите мне хоть одного ребенка, Пайл, в котором все было бы просто. Когда мы молоды, в нас целый лес всяких сложностей. Старея, мы становимся проще. — Но что толку было с ним разговаривать. И в моих, и в его доводах было что-то беспочвенное. Я раньше времени превращался в ходячую передовую статью. Встав с места, я подошел к книжной полке.

— Что вы ищете, Томас?

— Стихи, которые я очень любил. Вы сегодня можете со мной поужинать?

— С большим удовольствием, Томас. Я так рад, что вы больше на меня не сердитесь. Даже если вы и не во всем согласны со мной, мы ведь можем остаться друзьями?

— Не знаю. Вряд ли.

— В конце концов, Фуонг куда важнее всего этого.

— Неужели вы в самом деле так думаете?

— Господи, да она важнее всего на свете! Для меня. Да и для вас тоже, Томас.

— Для меня уже нет.

— Сегодня мы были ужасно огорчены, Томас, но, поверьте, через неделю все будет забыто. К тому же, мы позаботимся о родственниках пострадавших.

— Кто это «мы»?

— Мы запросили по телеграфу Вашингтон. Нам разрешат использовать часть наших фондов.

Я прервал его:

— Как насчет «Вье мулен»? Между девятью и половиной десятого?

— Где вам будет угодно, Томас. — Я подошел к окну. Солнце зашло за крыши. Велорикша все еще поджидал своего седока. Я поглядел на него сверху, и он поднял лицо. — Вы кого-нибудь ждете, Томас?

— Нет. Вот как раз то место, которое я искал. — Для отвода глаз я стал читать, подставляя книгу под угасающие лучи солнца:

Зевак задевая, по городу мчу, На все и на вся наплевать я хочу.

Могу, например, задавив наглеца, Ущерб наглеца оплатить до конца.

Как славно, что деньги в карманах звенят, Чудесно, что деньги в карманах

звенят.[47]

— Какие дурацкие стишки, — сказал Пайл с неодобрением.

— Он был зрелым поэтом уже в девятнадцатом веке. Таких немного. — Я снова поглядел вниз, на улицу. Велорикша исчез.

— У вас нечего выпить? — спросил Пайл.

— Почему? Мне просто казалось, что вы…

— Видно, я немножко распустился, — сказал Пайл. — Под вашим влиянием, Томас. Ей-богу, ваше общество мне полезно!

Я сходил за бутылкой и стаканами, но захватил только один стакан, и мне пришлось пойти за вторым снова; потом я отправился за водой. Все, что я делал в тот вечер, отнимало много времени.

— Знаете, у меня замечательные родители, — сказал Пайл. — Но, может быть, чересчур строгие. У них один из самых старинных домов на Честнат-стрит. Мать коллекционирует стекло, а отец, когда не возится со своими камнями, собирает рукописи и первоиздания Дарвина. Понимаете, Томас, они целиком погружены в прошлое. Наверно, потому Йорк и произвел на меня такое впечатление. Он — как бы это сказать? — спосо-

---

47 notes: 47
А.Клаф (пер. — Б.Слуцкий)

бен понять современные условия. Отец у меня — изоляционист.

— Мне, пожалуй, понравился бы ваш отец, — сказал я. — Я ведь сам изоляционист.

В этот вечер тихий Пайл был необыкновенно разговорчив. Я не слушал того, что он говорит, — мысли мои были далеко. Я старался уверить себя, что у мистера Хена есть и другие возможности, кроме самой простой и очевидной. Но я знал, что в такой войне долго раздумывать не приходится, — пускают в ход первое попавшееся оружие: французы — напалмовые бомбы, мистер Хен — нож или пулю. Было слишком поздно убеждать себя, что по природе своей я не судья. Я решил дать Пайлу выговориться, а потом предупредить его. Он мог бы у меня переночевать. Не станут же они вламываться ко мне домой! Кажется, в это время он рассказывал о своей старой няньке. «Я, по правде говоря, любил ее больше матери. Какие она пекла пироги с черникой!» Я его прервал.

— Вы теперь носите с собой револьвер?

— Нет, у нас в миссии запрещено…

— Но вы ведь на секретной службе?

— Какая разница? Если на меня захотят напасть, револьвер не поможет. Притом я слеп, как курица. В университете меня прозвали «Лету-

чая мышь» за то, что я ровно ничего не вижу в темноте. Как-то раз мы дурачились… — Он снова пустился разглагольствовать. Я подошел к окну.

Против моего дома стоял велорикша. Мне показалось, что это уже другой, хотя все они похожи друг на друга. Может, тот и в самом деле ждал седока. Безопаснее всего Пайлу будет в миссии. После того как я дал условный сигнал, они, наверно, успели составить свой план на вечер, — он был связан с мостом в Дакоу. Не знаю, почему они выбрали этот мост. Не будет же Пайл так глуп, чтобы поехать через него после захода солнца? А с нашей стороны мост всегда охранялся вооруженной полицией.

— Обратите внимание, что сегодня разговариваю я один, — сказал Пайл. — Не знаю, почему…

— Ничего, — сказал я. — Говорите. Мне хочется помолчать. Не отменить ли нам ужин?

— Не надо, прошу вас. Мне показалось, что вы больше не хотите иметь со мной дело с тех пор… ну, в общем, понимаете…

— С тех пор, как вы спасли мне жизнь, — сказал я и не смог подавить боли, которую сам себе причинил.

— Нет, я не о том. А помните, как мы тогда по душам поговорили? Будто это была последняя

ночь в нашей жизни. Я многое тогда о вас узнал, Томас. Мы смотрим на вещи по-разному, но, наверно, для вас это правильно — ни во что не вмешиваться. Вы стояли на своем до конца; даже когда вам размозжило ногу, вы и то оставались нейтральным.

— Рано или поздно наступает перелом, — сказал я. — И ты не можешь устоять перед напором чувств.

— Для вас он еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит. Я вот тоже никогда не переменюсь… Разве что после смерти, — добавил он весело.

— Даже после того, что было утром? Неужели и это не может изменить ваши взгляды?

— Война требует жертв. Они неизбежны. Жаль, конечно, но не всегда ведь попадаешь в цель. Так или иначе, они погибли за правое дело.

— А если бы речь шла о вашей старой няньке, которая пекла пироги с черникой? Что бы вы сказали тогда?

Он не ответил на мой выпад.

— Можно даже сказать, что они погибли за Демократию.

— Не знаю, как перевести это на язык вьетнамцев… — И вдруг я почувствовал страшную

усталость. Мне захотелось, чтобы он поскорее ушел и поскорее умер. Тогда я смогу начать жизнь сызнова, — с той самой минуты, когда он в нее вошел.

— Вы, верно, никогда не будете относиться ко мне серьезно! — посетовал Пайл с тем мальчишеским задором, который припас, как назло, для этого вечера. — Знаете что? Фуонг пошла в кино, давайте проведем весь вечер вместе. Мне как раз нечего делать. — Казалось, кто-то специально подбирает для него слова, чтобы отнять у меня всякую возможность к отступлению. — Почему нам не сходить в «Шале»? Я там не был с той самой ночи. И кормят никак не хуже, чем во «Вье мулен», и музыка играет.

— Мне вовсе не хочется вспоминать ту ночь.

— Простите, Томас. Я бываю глуп, как пробка. А что вы скажете насчет китайского ресторана в Шолоне?

— Если вы хотите там хорошо поесть, надо заказывать ужин заранее. Уж не боитесь ли вы «Вье мулен», Пайл? Там огорожено проволокой, а на мосту всегда полиция. Вы ведь не станете валять дурака и не поедете через Дакоу?

— Не в этом дело. Мне просто хотелось, чтобы сегодняшний вечер длился подольше.

Он сделал неловкое движение и опрокинул стакан, который упал на пол и разбился.

— Это к счастью, — сказал он машинально. — Извините меня, Томас. — Я стал подбирать осколки и класть их в пепельницу. — Ну так как же, Томас? — Разбитый стакан напомнил мне бутылки в «Павильоне», из которых лилось их содержимое. — Я предупредил Фуонг, что могу с вами куда-нибудь пойти.

Зря он выбрал слово «предупредил». Я поднял с полу последний осколок стекла.

— У меня деловое свидание в «Мажестик», — сказал я, — и я освобожусь не раньше девяти.

— Придется тогда зайти в контору. Но боюсь, как бы меня там не задержали.

Я, ничем не рискуя, мог предоставить ему этот последний шанс.

— А вы не торопитесь, — сказал я. — Если вас задержат, зайдите сюда попозже. Я вернусь в десять. Если вы не поспеете к ужину, я буду ждать вас дома.

— Я позвоню…

— Не стоит. Приходите прямо во «Вье мулен», а не то встретимся здесь. — Пусть решит исход дела тот, в кого я не верил: пусть вмешается, если хочет, подсунет ему телеграмму, поручение

посланника… Да разве ты существуешь, если не можешь изменить будущее?

— А теперь ступайте, Пайл. Мне еще надо кое-что сделать.

Я почувствовал странную слабость, прислушиваясь, как удаляются его шаги и стучат по полу лапы его собаки.

Когда я вышел, до самой улицы д'Ормэ не было ни одного велорикши. Я дошел до отеля «Мажестик» пешком и постоял немного, наблюдая, как разгружают американские бомбардировщики. Солнце зашло, и люди работали при свете дуговых фонарей. Я не собирался обеспечивать себе алиби, но раз я сказал Пайлу, что иду в «Мажестик», мне почему-то не хотелось врать больше, чем необходимо.

— Добрый вечер, Фаулер. — Это был Уилкинс.

— Добрый вечер.

— Как нога?

— Больше не беспокоит.

— Послали хороший материал?

— Нет, поручил Домингесу.

— Вот как! А мне сказали, будто вы там были.

— Был. Но в газете с таким трудом дают нам место. Вряд ли они захотят печатать пространные описания.

— Пресная у нас стала жизнь, — сказал Уилкинс. — То ли дело во времена Рассела и старого «Таймса»! Депеши посылались на воздушном шаре. Было время расписать похудожественнее. Будьте уверены, Рассел дал бы целую колонку даже вот про это: роскошный отель, бомбардировщики, спустилась тьма… Тьма в наши дни не спускается, ведь за каждое слово на телеграфе берут отдельно. — Где-то высоко-высоко слышался тихий смех; кто-то разбил стакан, — так же, как Пайл. Звуки падали сверху, как льдинки. — «Лампы освещали прекрасных женщин и отважных мужчин», — желчно процитировал Уилкинс. — Вы сегодня свободны, Фаулер? А что если нам вместе перекусить?

— Да я как раз еду ужинать во «Вье мулен».

— Туда вам и дорога. Там будет Гренджер. Им следовало бы выпускать специальную рекламу: «Спешите! Сегодня у нас Гренджер!» Для тех, кто любит шум и гам.

Я пожелал ему спокойной ночи и зашел в соседнее кино. Эррол Флин, а может Тайрон Пауэр (никогда не мог различить их в трико), раскачивался на веревке, прыгал с балкона и скакал без седла прямо в розовый рассвет, снятый на цветной пленке. Он спас возлюбленную, убил

врага и был неуязвим. Такие фильмы почему-то предназначаются для подростков, однако вид Эдипа, выходящего из своего дворца в Фивах с кровоточащими глазами, был бы куда лучшей подготовкой к жизни. Неуязвимых людей не бывает. Пайлу везло и в Фат-Дьеме, и когда он возвращался из Тайниня, но счастье изменчиво. У друзей мистера Хена было целых два часа, чтобы разрушить чары и сделать Пайла уязвимым. Рядом со мной, положив руку на колено девушке, сидел французский солдат, я позавидовал его неприхотливому счастью или его горести — словом, тому, что он сейчас испытывал. Я ушел до того, как фильм кончился, и нанял велорикшу во «Вье мулен».

Ресторан был огорожен проволокой от гранат, и у въезда на мост стояли двое вооруженных полицейских. Хозяин ресторана, разжиревший на своей сытной бургундской стряпне, сам провел меня через проволочную загородку. Внутри пахло каплунами и растаявшим от тяжкой ночной жары маслом.

— Вы хотите присоединиться к компании мсье Гренджера? — спросил меня хозяин.

— Нет.

— Столик на одного? — И тогда я впервые по-

думал о будущем и о вопросах, на которые мне, может быть, придется отвечать.

— На одного, — ответил я, словно подтверждая вслух, что Пайл мертв.

В ресторане был только один зал, и компания Гренджера занимала большой стол в глубине; хозяин предложил мне маленький столик у самой проволоки. В окнах не было стекол — боялись осколков.

Я узнал кое-кого из гостей Гренджера и поклонился им, прежде чем сесть; сам Гренджер отвел глаза. За последние несколько месяцев я видел его только раз с той ночи, когда Пайл влюбился. Несмотря на пьяный угар, до него, видно, дошло какое-то обидное замечание, которое я отпустил по его адресу в тот вечер, — он сидел насупившись, хотя мадам Депре, жена чиновника информационного отдела, и капитан Дюпар из службы прессы кивали мне и подзывали меня к себе. С ними был высокий мужчина (кажется, хозяин гостиницы из Пномпеня), молодая француженка, которую я никогда прежде не видел, и еще два-три человека, — я встречал их в барах. На этот раз, к удивлению, компания была не очень шумная.

Я заказал стаканчик пастиса, — мне хотелось

дать Пайлу время прийти: планы порой рушатся, и пока я не начал ужинать, можно было еще надеяться. А потом я подумал: на что мне надеяться? На удачу в делах ОСС — или как там зовется их банда? На успех бомб из пластмассы и процветание генерала Тхе? Или же такой, как я, должен надеяться на чудо — на то, что мистер Хен решит спор каким-нибудь более замысловатым способом, чем смерть? Все было бы куда проще, если бы нас обоих убили на тайниньской дороге. Я просидел двадцать минут над своим пастисом, а потом заказал ужин. Время приближалось к половине десятого; теперь он уже не придет.

Помимо своей воли, я все время прислушивался. Чего я ждал? Крика? Выстрела? Беготни полицейских за оградой? Я все равно ничего не услышу, потому что компания Гренджера была уже под градусом. Хозяин гостиницы, у которого был приятный, хотя и непоставленный голос, запел, а когда хлопнула еще одна пробка от шампанского, другие стали ему вторить. Молчал только Гренджер. Он сидел, тараща на меня воспаленные глаза. Уж не думает ли он затеять со мной драку, — для Гренджера я был слишком слабый противник.

Гости его пели чувствительную песню, и,

ковыряя без всякого аппетита своего каплуна по-герцогски, я впервые с тех пор, как узнал, что она в безопасности, думал о Фуонг. Я вспомнил как, ожидая вьетминцев, Пайл сказал: «Она мне кажется свежей, как цветок», — а я ответил с деланной небрежностью: «Бедный цветок!» Теперь она уже больше не увидит Новой Англии и на познает секретов канасты. Может, ей никогда не суждено и жить обеспеченной жизнью. Разве я имею право дорожить ею меньше, чем мертвецами на площади?.. Страдание не становится более мучительным оттого, что страдальцев много; одно тело может выстрадать не меньше, чем все человечество. Я рассуждал, как журналист, заботясь только о численности, и тем самым предал свои собственные принципы; я так же, как Пайл, встал на одну из сторон в схватке, и отныне всякое решение мне будет даваться с трудом. Поглядев на часы, я увидел, что уже без четверти десять. Может быть, его все-таки задержали; может, тот, в кого он верил, о нем позаботился, и Пайл сидит теперь у себя в миссии и с нетерпением расшифровывает телеграмму, а потом, топая, взбирается по лестнице в мою комнату на улице Катина. «Если он придет, я ему все скажу», — подумал я.

Гренджер вдруг поднялся с места и пошел ко

мне. Он не заметил, что на дороге у него стоит стул, споткнулся и оперся рукой о край моего столика.

— Фаулер, — сказал он. — А ну-ка выйдем.

Я положил на стол деньги за ужин и последовал за Гренджером. У меня не было желания с ним драться, но в ту минуту я бы не возражал, чтобы он избил меня до полусмерти. В наши дни так трудно замаливать грехи.

Он облокотился на парила моста, и двое полицейских следили за ним издалека.

— Мне надо с вами поговорить, Фаулер.

Я подошел к нему на расстояние удара и стал ждать, что будет. Он не двигался. Гренджер был как бы аллегорическим изображением всего, что я ненавижу в Америке, — так же плохо изваянным и таким же бессмысленным, как статуя Свободы. Не шевельнувшись, он произнес:

— Вы думаете, я налакался? Ошибаетесь.

— Что с вами, Гренджер?

— Мне хочется с вами поговорить, Фаулер. Не могу я сегодня сидеть с этими лягушатниками! Я и вас не люблю, но вы хоть говорите по-английски. Или вроде как по-английски. — Он горбился в полутьме — массивный, бесформенный, как неразведанный материк на карте.

— Чего вы хотите, Гренджер?

— Не переваривaю англичан, — сказал Гренджер. — Как только Пайл вас терпит! Наверно, оттого, что он сам из Бостона. А я — из Питтсбурга и этим горжусь.

— Ну и гордитесь на здоровье.

— «Гордитесь на здоровье»! — Он сделал слабую попытку высмеять мое произношение. — Снобы проклятые! Будто лучше вас и нет никого. К чертям собачьим! Будто вы одни знаете все на свете!

— Спокойной ночи. Меня ждут.

— Не уходите, Фаулер. Вы что, каменный? Не могу же я разговаривать с этими лягушатниками!

— Вы пьяны.

— Выпил два бокала шампанского, вот и все. Да и вы были бы не лучше на моем месте. Мне надо ехать на Север.

— Ну и что из этого?

— Да разве я вам не говорил? Мне почему-то кажется, что об этом все знают. Утром я получил телеграмму от жены.

— Ну?

— У сына полиомиелит. Ему очень плохо.

— Как жаль…

— Вам чего жалеть? Ребенок-то не ваш.

— А вы не можете слетать домой?

— Не могу. С меня требуют, чтобы я написал о какой-то операции возле Ханоя; там подчищают остатки противника. А Конноли болен (Конноли был его помощником).

— Это очень обидно, Гренджер. Я охотно бы вам помог.

— Сегодня день его рождения. В половине одиннадцатого по нашему времени мальчику будет ровно восемь лет. Вот я и затеял эту выпивку, заказал шампанское, Но я тогда еще ничего не знал. Надо же мне кому-нибудь рассказать, Фаулер. Не могу же я разговаривать с этими лягушатниками…

— Теперь, кажется, научились лечить полиомиелит.

— Пусть даже будет калекой. Только бы выжил. От меня мало толку, если бы я был калекой, но он у меня — умница! Знаете, что я делал, пока этот ублюдок пел? Молился. Если богу уж так нужна чья-нибудь жизнь, пусть берет мою.

— Вы верите в бога?

— Рад бы верить… — Гренджер провел ладонью по лицу, словно у него болела голова, но на самом деле он хотел скрыть, что вытирает слезы.

— На вашем месте я бы напился, — сказал я.

— Мне нельзя напиваться! Не хочу потом вспо-

минать, что в ту ночь, когда умер мой мальчик, я был пьян, как свинья. Разве моя жена может напиться?

— А что если вы объясните вашей газете…

— Конноли, по правде говоря, совсем не болен. Он погнался за какой-то юбкой в Сингапур. Я не могу его выдать. Если об этом узнают, его выгонят. — Гренджер кое-как подобрал свое расплывшееся тело. — Простите, что задержал вас, Фаулер. Мне надо было выговориться. А сейчас пойду к ним — поднимать тосты. Смешно, что мне попались именно вы, Фаулер. Вы ведь меня ненавидите.

— Я бы охотно написал за вас вашу корреспонденцию. Можно будет сказать, что это — Конноли.

— У вас не тот акцент…

— Да я не так уж плохо к вам отношусь, Гренджер. Раньше я многого не замечал…

— Э, мы с вами всегда будем жить, как кошка с собакой. Но спасибо, что посочувствовали.

Чем же я отличаюсь от Пайла? Разве сам я чувствую, как людям больно, пока не столкнусь с мерзостью жизни? Гренджер вернулся в ресторан, и оттуда послышался приветственный гул голосов. Я нанял велорикшу, и меня отвезли домой. Там никого не было, и я прождал до полу-

ночи. Потом, уже ни на что не надеясь, я вышел на улицу и встретил Фуонг.

3

— Был у тебя мсье Виго? — спросила Фуонг.

— Да. Он ушел минут пятнадцать назад. Фильм был хороший? — Она уже приготовила в спальне трубку и теперь зажигала лампу.

— Очень грустный, — сказала она. — Но краски такие нежные. А зачем приходил мсье Виго?

— Задать мне кое-какие вопросы.

— О чем?

— О том, о сем. Не думаю, чтобы он стал меня еще тревожить.

— Больше всего я люблю фильмы со счастливым концом, — сказала Фуонг. — Будешь курить?

— Да. — Я лег на кровать, и Фуонг принялась орудовать иглой.

— Девушке отрубили голову.

— Странная идея! Зачем?

— У них была французская революция.

— А-а… исторический фильм. Понятно.

— Все равно, он очень грустный.

— Стоит ли огорчаться? Ведь это история.

— Ее возлюбленный вернулся к себе на чердак в ужасном горе и написал песню, — понимаешь, он был поэт. И скоро те, кто отрубил его девуш-

ке голову, стали распевать его песню. Это была Марсельеза.

— Что-то не очень похоже на историю.

— Он стоял в толпе, когда они пели, и у него было такое печальное лицо, а когда он улыбался, оно становилось еще грустнее: он думал о ней. Я плакала, и моя сестра тоже.

— Твоя сестра? Вот не поверю!

— Она очень впечатлительная. Там был этот противный Гренджер. Совсем пьяный, — он все время смеялся. Не понимаю, над чем: в картине не было ничего смешного. Наоборот, нам было очень грустно.

— Я его не виню. У него есть чему радоваться. Мне рассказывали сегодня в «Континентале», что его сын вне опасности. Я ведь тоже люблю счастливые концы. — Выкурив две трубки, я откинулся назад, подперев голову кожаной подушечкой, и положил руку Фуонг на колени. — Ты счастлива?

— Конечно, — сказала она небрежно. Я не заслуживал более вдумчивого ответа.

— У нас все совсем как прежде, — солгал я. — Как год назад.

— Да.

— Ты еще не купила ни одного нового шарфа. Сходи завтра в магазин.

— Завтра праздник.

— Ах да, совсем забыл.

— Распечатай свою телеграмму, — сказала Фуонг.

— Я и о ней забыл. Мне сегодня не хочется думать о газете. Все равно уже слишком поздно посылать материал. Расскажи лучше про фильм.

— Возлюбленный хотел спасти ее из тюрьмы. Он тайком принес туда одежду мальчика и мужскую шапку, такую, как у тюремщика, но когда она выходила из ворот, у нее рассыпались волосы, и все закричали: «Аристократка! Аристократка!» Мне кажется, что тут в фильме неправильно. Надо было ей убежать. Тогда бы они оба заработали много денег на его песне и уехали за границу, в Америку или… Англию, — добавила она, как ей казалось, очень хитро.

— Пожалуй, я все-таки прочту телеграмму, — сказал я. — Дай бог, чтобы мне завтра не пришлось ехать на Север. Мне хочется спокойно побыть с тобой.

Она вытащила конверт из-за банок с кремом. Я распечатал телеграмму и прочел:

«Снова думала над твоим письмом точка Поступлю неразумно как ты и надеялся точка Просила адвоката начать дело о разводе мотиви-

руя тем что ты меня бросил точка Да хранит тебя бог любящая Элен».

— Тебе надо будет ехать?

— Нет, — сказал я. — Мне не надо будет ехать. Прочти. Вот тебе и счастливый конец.

Она спрыгнула с кровати.

— Но это замечательно! Я сейчас же пойду к сестре. Она будет так рада. Знаешь, что я скажу: «Смотри — кто я, по-твоему, такая? Я — вторая миссис Фулэр».

Напротив, на книжной полке, словно портрет молодого человека с короткой стрижкой и черной собакой у ног, стояла «Миссия Запада». Теперь уж Пайл никому не причинит вреда. Я спросил Фуонг:

— Ты очень по нем скучаешь?

— По ком?

— По Пайлу. — Странно, что даже теперь, даже ей я не мог назвать его по имени.

— Мне можно уйти? Ну, пожалуйста. Сестра будет так рада.

— Как-то раз ты произнесла его имя во сне.

— Я никогда не помню снов.

— Вы так много могли с ним успеть. Он был молод.

— Ты тоже не стар.

— А небоскребы? А Эмпайр стэйт билдинг?

Она сказала, чуточку поколебавшись:

— Я хочу поглядеть на Чеддерское ущелье.

— Это тебе не Большой каньон. — Я притянул ее к себе на кровать. — Прости меня, Фуонг.

— За что? Такая замечательная телеграмма. Сестра…

— Ладно, ступай к сестре. Но сначала поцелуй меня. — Ее рот скользнул по моему лицу, и она исчезла.

Я думал о том первом дне, когда Пайл сидел подле меня в «Континентале», с тоской поглядывая на аппарат для содовой воды в кафе-молочной напротив. После его смерти все пошло у меня гладко. Но как бы я хотел, чтобы существовал тот, кому я мог бы выразить всю свою горечь.